

Рен Вольский

Крещение болью

«Автор»
2026

Вольский Р.

Крещение болью / Р. Вольский — «Автор», 2026

Моряк приходит в себя в теле одиннадцатилетнего сироты — и сразу попадает в военный 1941 год другой России. Чужую боль он чувствует как свою. Сможет ли Андрей научиться помогать людям, не выдав тайну, за которую его захотят забрать?

© Вольский Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Чужое тело 5
Слепой ужас 11
Найденыш 20
Шаг в пекло 30
Живой наркоз 38
Сословные правила 46
Поверхностный слой 56
Конец ознакомительного фрагмента. 63

Рен Вольский
Крещение болью

Чужое тело

Влажная прелая хвоя забила гортань вперемешку с мелким кварцевым песком и едкой маслянистой копотью.

Судорожный кашель вытолкнул на мох плотный сгусток черной слизи. В грудине стянуло сухожилия: ребра сдавило железным обручем, а воздух входил в узкие, короткие объемы легких с тонким мышиным свистом. Вокруг стояла ватная, глухая тишина — такая падает на палубу после прямого артиллерийского попадания или удара встречной океанской волны в лобовые стекла ходовой рубки, когда барабанные перепонки вдавлены внутрь черепа. Пальцы рефлекторно заскребли лесную подстилку, сдирая кожицу с острых сосновых шишек и увязая в студеной торфяной жиже.

Под сомкнутыми веками плясало мутное белесое марево. Попытка приподнять плечи отозвалась в шейных позвонках сухим хрустом и ударом тяжелого колокола прямо в височные дуги.

Веки разомкнулись с влажным усилием, пропуская мир сквозь серую пленку слез и печной золы: серый ствол поваленной сосны, расщепленный надвое белый излом древесины, клочья тлеющей пакли на ветвях. В пяти дюймах от кончика носа, на ржавом четырехгранном железнодорожном костыле, замер рыжий лесной муравей. Шесть тонких хитиновых сочленений удерживали обугленную хвойную иглу втрое длиннее собственного туловища. Насекомое мерно волокло ношу по чешуйчатой бурой окалине. Внимание намертво прикипело к этой траектории: ритм гудящей боли в темени синхронизировался с микроскопическими толчками лапок. Шаг, пауза, зацеп. Муравей соскользнул в янтарную слезу загустевшей смолы, завяз, захлебнулся движением, но через долю секунды выломал лапки из липкого плена и потянул груз дальше по металлическому ребру.

Правая кисть дернулась к левому запястью заученным флотским жестом — нащупать рифленый рант командирского хронографа, проверить герметичность заводной головки. Пальцы сомкнулись на пустоте. Вместо плотного предплечья с ремешком из гидрофобной кожи под подушечками оказалась тонкая, узловатая кость, не толще черенка столового прибора. Кожа шершавилась свежими цыпками, въевшейся грязью и точечными алыми ссадинами. Чужой, непривычно короткий сустав гнулся без сопротивления тренированных связок. Рукав из некрашеного домотканого холста обвисал широкими складками, прихваченный у самого сгиба локтя ржавой английской булавкой со сточенным ушком.

Ноздри обожгло плотной смесью запахов: сырая солярная гарь, сладковатый дух горелого мяса, остывающий пар, мокрый дерн и паленая овечья шерсть.

Впереди, в сотне шагов за редким частоколом березового молодняка, возвышалась железнодорожная насыпь. Взрыв сокрушительной силы превратил стальное полотно в штопор: рельсы выгнуло наружу, сорвав с костылей и расщепив просмоленные шпалы на длинные лучины. Обгоревшие остовы товарных вагонов и теплушек громоздились слоеным завалом,

образовав бесформенную свалку из перекрученного сортового проката, разорванной обшивки и вздыбленных колесных пар. Из распоротого котла паровоза, лежащего на боку с вывороченными шатунами, тонкими сиплыми струями бил остаточный пар. Над искореженным металлом дрожало сизое марево полуденного зноя, роняя на полынь хлопья жирной сажи.

Тело сопротивлялось простейшим командам двигательных центров. Мышечный каркас, привыкший к нагрузкам десантных марш-бросков и тяжелой морской качке, внутри этого скелета отсутствовал начисто. Центр тяжести сместился вверх к диафрагме, длина костных рычагов уменьшилась вдвое. Опора на узловатый корень сосны позволила оторвать грудную клетку от сырой земли. Колени в грубых холщовых портах задрожали; стопы, обутые в жесткие кожаные постолы кустарной выделки, соскользнули по влажному гранитному щебню. Ткань на коленях с треском разошлась, впуская в ссадины едкую минеральную пыль.

В мертвом составе не двигалось ничего. Тишину лесного завала нарушал лишь сухой треск остывающей листовой стали и сипение пара. Стояла густая, неподвижная духота зноя.

Пустой желудок ответил на запах пепелища жестким спазмом, подтянувшим брюшину к позвонкам. В разбитых теплушках беженцев наверняка оставались сухари, жестянки с водой, аптечки или инструмент. Движение к насыпи требовало раздельного расчета каждого шага: непривычно короткий шаг сбивал темп, негнущиеся суставы вязли в прошлогоднем опаде, а жесткий кожаный задник постола безжалостно сдирал пятку до мокрой сукровицы.

Расстояние до ближайшего опрокинутого вагона сократилось до трех десятков саженей.

Удар обрушился без звука и вспышки — кинетический таран прямо в твердую мозговую оболочку. Пространство между соснами сплющилось, обратившись в монолит раскаленного чугуна. В ушные каналы хлынул беззвучный вой сотен переплетенных голосов — не акустическая волна, а вязкое гидростатическое давление, сминающее височные кости черепа. Сердечная мышца заколотилась о грудину с частотой пулеметного затвора. Из правой ноздри на холщовый ворот рубахи плеснуло горячей тяжелой медью.

Еще шаг вперед по балластной призме.

Земля под подошвами провалилась, заваливая горизонт, точно палуба шхуны на океанском рифе. Внутри черепной коробки сдетонировала чужая агония. Раздавленные грудные клетки, оторванные взрывом конечности, захлебывающиеся трахеи, гаснущие импульсы сотен угасающих сознаний разом ввинтились в нервные узлы. Концентрированное излучение предсмертных судорог сотен людей, перемолотых броней внутри теплушек, монолитным прессом било по диафрагме. Желудок вывернуло горькой желчью прямо на серые шпалы.

Попытка вдохнуть наткнулась на осязаемую стену толченого стекла. Перед глазами закружились концентрические багровые и черные дуги. Сознание натянулось до предела, готовое разорваться на волокна. Мышцы свело судорогой; челюсти стиснулись так, что осколок раскрошенного зуба резанул по языку соленым привкусом извести и крови.

Слепой рефлекс самосохранения выломал стопы назад.

Один шаг спиной к лесу — и плотность удушающего поля ослабла на толщину волоса. Второй шаг. Давящая свинцовая тяжесть в затылке сменилась тупой пульсирующей болью.

Разворот через плечо. Спотыкаясь о валежник, крошечное тело бросилось прочь от насыпи в спасительную чащу. Ветки берез хлестали по лицу, оставляя багровые борозды на скулах, колючий кустарник рвал холст рукавов и кожу предплечий, но бег не прекращался, пока свист пара за спиной окончательно не утонул в мерном шуме вековых сосновых крон.

Лесной массив сомкнулся над беглецом ковром мха и прохладной полутенью.

Через три версты непрерывной ломки сквозь бурелом дыхание окончательно обратилось в рваный хрип. Ноги одеревенели; правая икра налилась свинцом от жестокой каменной судороги. Центр тяжести ушел из-под контроля, и тело сорвалось на склон песчаного оврага, заваленного буреломом и рыжими папоротниками. Песок осыпался под пальцами, въедаясь в поры серой ткани и забивая свежие ссадины.

Тонкий хрящ трахеи ходил ходуном, выталкивая сухой, дерущий горло кашель. В висках глухо молотил частый, спотыкающийся ритм — бешеный пульс загнанного зверя. Отзвуки чужой предсмертной агонии остались у границы железнодорожной насыпи, оставив в черепной коробке только тянущую пустоту и холодную испарину на затылке. Лесной массив стоял несокрушимым щитом: медные стволы мачтовых сосен подпирали зеленую кровлю, отсекая смрад гари и лязг искореженного металла.

Запах прелой смолы, горькой хвои и влажного песчаника вытеснил из ноздрей химическую вонь горящего вагона. Солнечные клинья рассекали полумрак оврага, высвечивая в воздухе золотистую пыльцу и муравьиные тропы на чешуйчатой коре. Высоко в кронах сухо, дробно работал дятел, отсчитывая секунды возвращения в реальность.

Пальцы впились в правую икру. Сведенные судорогой мышечные волокна затвердели каменным желваком; короткие сухожилия натянулись тетивой под бледной, тонкой кожей. Взрослой мышечной массы не ощущалось вовсе. Резкое надавливание большими пальцами в центр спазма заставило ногу дернуться, но узловатый комок постепенно разошелся, отозвавшись тупой ноющей волной.

Плечевой сустав саднило под жесткой парусиновой лямкой. Серый вещевой мешок, пахнущий древесным дегтем и застарелым овечьим потом, соскользнул на колени. Узел из просмоленной бечевки поддался ногтям не сразу — огрубевшие волокна намертво впились друг в друга от сырости.

Расстеленная пола холщовой куртки приняла скудное имущество:

— брусок соленого свиного сала, завернутый в серую ветошь, покрытый плотным налетом серой соли и крупно дробленого черного перца;

— четыре ржаных сухаря, высушенных в печи до монолитной твердости кровельного сланца;

— две холодные печеные картофелины с лопнувшей пыльной кожурой, пахнущие золой;

— бумажный кулек с крупными кристаллами неочищенной соли;

— запасные онучи из плотного домотканого льна.

Звяканье металла о деревянное дно мешка привлекло внимание к узкому свертку. Пальцы извлекли ножны из тонкой дощечки, обтянутой потертой темной юфтью.

Сапожный нож кустарной ковки лег в ладонь. Рукоять из березового капа хранила маслянистый лоск сотен рабочих часов; волокна капового наплыва потемнели от жира и пота. Клинок из темной инструментальной стали нес следы продольной правки оселком. Обух толщиной в добрых три миллиметра, прямой рабочий спуск, хищный кончик. Оружие, инструмент, единственный гарант выживания. Короткая детская кисть охватила дерево с трудом: мизинец соскальзывал к навершию, а большой палец едва доставал до основания клинка. Рычаг предплечья оказался вдвое короче привычного, но баланс лезвия позволял резать дерево и сырую кожу за счет точности угла, а не грубой силы.

Взгляд скользнул по собственным конечностям. Острые колени венчали бурые корки старых ссадин и царапин от ежевики. Тонкие берцовые кости выступали под кожей угловатыми гранями. Распахнувшийся ворот холщовой рубахи обнажил реберные дуги: под тонким эпидермисом отчетливо читался рисунок межреберных промежутков. Ни грамма жировой прослойки — только сухие, натруженные жилы подростка, привыкшего к переноске тяжестей и скудной пище. Возраст тела не превышал одиннадцати полных лет.

Тридцать пять лет прежнего пути — рев штормовой волны у мыса Горн, рывок парашютных строп над перелесками под Псковом, бессонные расчеты гидродинамических сопротивлений над чертежами — сжались до объема хрупкого каркаса из детских хрящей и тонких костей.

Веки налились свинцом. Челюсти свело широким зевком, отозвавшимся хрустом в височных суставах. Тело вжалось в развилку узловатых корней вывороченного векового дуба на склоне песчаной промоины. Пальцы зафиксировали березовую рукоять засапожника на груди, под слоем холста. Сознание угасло, соскользнув в липкую, тяжелую дремоту.

Память обрушилась не темнотой, а шквалом чужих очертаний, запахов и звуков.

Глухая кирпичная кладка уездного училища на окраине городка под Тверью. Запах толченого мела, прокисшей капусты из общей столовой и тяжелого сукна отсыревших шинелей. Чугунная колонка с тугим медным краном на мощеном шлаком дворе.

— Шалопай! Эй, Шалопаев, держи подачу!

В груди взметнулась привычная глухая ярость. Круглая физиономия гимназиста в синей форменной куртке с посеребренными пуговицами. Реакция мышц опередила мысль: короткий прямой выпад кулака в скулу, без замаха, отработанный в драках за штабелями березовых балансов у товарной станции. Сухой хруст хряща, визг надзирателя, сырая тьма карцера под сводами полуподвала.

Фамилия въелась в кожу несмываемым клеймом. Шалопаев. Сын путейского чертежника. Уличные оборванцы и чванливые дети купцов третьей гильдии находили в этом слове повод для тычков и насмешек. Ответом служили разбитые фаланги и угрюмая неподвижность в дальнем углу класса. Дружба оставалась бессмысленным понятием; таблицы логарифмов, атласы минералов и книги по механике заменяли товарищей. Страницы учебников впечатывались в память с одного беглого просмотра, вызывая у преподавателей не одобрение, а глухое раздражение перед нелюдимым выскочкой.

Отец — Александр Шалопаев. Сгорбленная фигура над сосновым кульманом, синие кляксы несмываемой чертежной туши на сухих пальцах, едкий дым дешевого табака «Дукат», раздирающий грудь чахоточным кашлем в казенной полутемной квартире.

Мать — Ольга. Тихая тень в шерстяном темном платке, бесконечно чинящая форменные гимнастерки при свете чадящей керосиновой лампы.

Окружающее пространство в этих чужих пластах воспоминаний двоилось и искривлялось: карта Российской Империи несла незнакомые границы наместничеств, государственные департаменты носили странные, смещенные наименования, а по стальным путям ходили тяжелые локомотивы неизвестных заводов и непривычной колеи.

Высокие стены гимназических классов вставали под сводами белой лепнины. Тяжелые дубовые рамы держали гравированные портреты: Государь Император в темно-зеленом генеральском мундире с андреевской лентой через плечо, а по правую и левую руку — сановники Государственной думы во фраках и шитых серебром мундирах. Нигде не алели полотнища революционных флагов; ни единый комиссар в потертой кожанке не рубил воздух с трибуны. Плотные листы «Правительственного вестника» и «Нового времени» хрустели под пальцами — шероховатая тряпичная бумага, колючие углы строк с «ятями», «фитами» и твердыми знаками на концах слов, свинцовый типографский шрифт, заполнивший полосы отчетами экстренных заседаний Совета министров и речами министра-председателя о сборе сословных дружин.

Сословная громада Империи держалась на тысячах притертых шестерен: купеческие гильдейские книги, дворянские депутатские собрания с гербовыми печатями, волостные земства, фабричные старосты, крестьянские общины. Огромная, неповоротливая государственная машина застыла в звенящем напряжении июля 1941 года.

Германская империя объявила войну четырнадцать дней назад.

В темном водовороте угасающего сна память вспыхивала звуками предельной резкости: медный вой вокзальных сирен над путями, тяжелый кашель маневровых паровозов, клубы угольного чада над перроном, где в теплушки втискивали семьи служащих путейского ведомства. Мать в грубом шерстяном платке, пахнущем щелоком и лежалой шерстью, толкала сына в темный зев товарного вагона, сунув в руки парусиновый вещмешок. Отец остался на засыпанном шлаком перроне среди аварийной бригады: форменная фуражка со скрещенными топориками сбита на затылок, сухие пальцы въелись в чертежный планшет, а из кармана тужурки торчит пачка «Дуката».

Затем налетел пронзительный вой юнкерсов с черными крестами на изломе крыльев. Железный грохот разрывов вздыбил полотно, расщепил сосновые борта теплушек на тысячи летящих игл, наполнил воздух гарью и серным удушьем. Оторванный стропильный брус ударил в затылок, отсекая прежнее бытие Андрея Шалопаева в слепую вспышку белизны.

Резкий спазм диафрагмы вытолкнул сознание на поверхность.

Сырой вечерний холод мгновенно прошил грудную клетку, заставив челюсти выбивать частую, судорожную дробь. Длинные чернильные тени сосновых стволов перечеркнули песчаное дно оврага ровными косыми брусьями. Солнечный диск — тяжелый, налитый цветом остывающего чугуна — зацепился за гребень западного леса, окрашивая хвою в темный багрянец.

Слепая боль в затылке притупилась, уступив место тяжелой, пульсирующей тяжести под костями черепа.

Поворот лица на запад, туда, где за кронами сосен осталась искореженная железнодорожная насыпь, отозвался мгновенным приступом дурноты. Там, над развороченными шпалами, висело душное, гниющее поле чужой агонии. Невидимая вибрация сотен предсмертных судорог пробивала версты леса, ударяя в солнечное сплетение жестким акустическим толчком и скручивая пустой желудок в болезненный узел.

Дорога назад была отрезана намертво. Любая попытка пробиться к разбитым теплушкам за концентрированным сухарным пайком или солониной грозила разрывом сосудов в висках и полным помрачением рассудка. Мешки с армейским провиантом остались погребены под куполом чужой непереносимой муки.

Плата за сохранность рассудка оказалась однозначной: эшелон потерян навсегда.

Единственный вектор движения лежал на восток.

Кованый клинок засапожника скользнул за голенище правого сапога, жестко встав между грубой льняной онучей и юфтевой кожей. Холодная полоса стали прижалась к икре сквозь полотно, возвращая телу собранность. Парусиновые лямки мешка легли на ключицы; жесткая ткань натерла тонкую холщовую рубаху, но сам груз за спиной почти не имел веса.

Навигационные ориентиры выстроились перед глазами без задержки. Бархатистый слой мха покрывал комлевую кору на северной стороне древесных стволов; угол падения закатных теней задавал точный пеленг в двести семьдесят градусов за правым плечом.

Движение по сыпучему склону оврага потребовало перестройки моторики. Укороченный рычаг бедренной кости и малая масса тела заставили сузить шаг и сместить центр тяжести вперед. Сухая хвоя и песок зашуршали под тонкими подметками, но стопа встала на грунт плотно, удерживая равновесие.

Пальцы поправили узел веревочной завязки на плече. Впереди разворачивались незнакомые, затягиваемые вечерней мглой версты чужой земли, расколотой надвое ударом войны.

Слепой ужас

Крона векового ясеня раскачивалась над головой с сухим, костяным скрежетом. Сумрак оседал между замшелыми стволами слоистой зеленоватой мутью.

Холодный воздух обжигал трахею. Легкие двенадцатилетнего подростка работали короткими толчками, ребра упирались в жесткий неокрашенный холст. Шаг за шагом отдавался в теменную кость глухим ударом чугунной болванки. Опухоль над правым ухом — след стропильного бруса из разбитого вагона — налилась тугой горячей шишкой. Запекшаяся кровь намертво склеила светлые пряди; засохшая корка царапала пальцы при малейшем наклоне шеи.

Ноги в сырых постолах утопали в гнилом сфагнуме. Привычная строевая мерность взрослого шага ломалась: короткая бедренная кость требовала частить, сбивала дыхание, а связки нетренированного детского голеностопа подворачивались на каждом скользком корневище.

Парусиновая лямка мешка врезалась в ключицу. Кожа под ней саднила, вздуваясь багровым рубцом. В глубине холщового нутра мерно и глухо бухал завернутый в тряпицу соляной брусок, сухо шуршали черствые ржаные сухари.

Стволы берез служили компасом. Плотные подушки зеленого мха у комлей четко держали север; закатное солнце резало ельник косыми лучами под углом в девяносто градусов к курсу. Вектор движения вел строго на восток, прочь от железнодорожной насыпи, откуда до сих пор тянуло невидимой удушливой волной развороченного щебня и тлеющего железа.

Гнилая торфяная жижа хлюпнула под ступней. Мокрая кора валежины ушла из-под ноги, и правое колено с маху ударило в гранитный скол. Острая белая вспышка пробила надкостницу до самого паха. Зубы сомкнулись с хрустом, кроша мелкую песчинку на эмали. Из рваной ссадины по голени поползла горячая сукровица, смывая налипшую хвойную труху.

Пальцы судорожно впились в смолистый ствол поваленной сосны, удерживая равновесие. Бедренные мышцы колотила мелкая дрожь перегрузки. Требовалось засветло найти сухое укрытие: низины уже наполнялись стылым туманом, жадно высасывавшим тепло сквозь влажную ткань портов.

Песчаная промоина под корнями вывороченной ели дала сухую нишу.

Дно оврага устилал чистый кварцевый песок вперемешку с окатанной галькой. Вода в ручье скользила бесшумно, отдавая привкусом кремня, вымоченной древесины и сырой глины. Пригоршня ледяной влаги обожгла пересохшую глотку, свела пищевод тугим спазмом, но вымыла из десен едкую сажу железнодорожной катастрофы.

Засапожный нож покинул деревянные ножны с сухим щелчком. Маслянистый скол инструментальной стали сверкнул в сумерках. Лезвие срезало десяток плотных еловых лап. Колючая подстилка легла на песок пружинящим ковром.

Развязанный мешок дохнул старым топленым салом и печной золой. Пальцы извлекли единственную печеную картофелину. Обугленная шкурка лопнула под ногтем, открыв холодную желтую сердцевину. Зубы срезали плотный крахмал. Слюнные железы сжались, мгновенно пропитывая сухость во рту. Ни единая крошка не сорвалась вниз: ладонь подобрала каждую пылинку, отправляя обратно на язык. За картофелиной нож отделил от соляного бруска стружку сала толщиной в волос. Серая кристаллическая корка скрипнула на резцах, обожгла десны чистым натрием. Жировая пленка растеклась под нёбом, посылая в окоченевшие мышцы слабую волну питательного тепла.

Остаток припасов вернулся в темноту холщового мешка. Горловину затянул тугой просмоленный узел. Расчет автономности диктовал предельную скупость: три сухаря, обмылок сала шириной в два пальца и одна запеченная картофелина составляли весь ресурс посреди глухого лесного массива.

Мгла запечатала овраг плотным колпаком.

Холодный сырой воздух опустился на дно ямы. Льняная рубаха не держала тепла: мышцы вдоль позвоночника свело судорогой, челюсти выбивали мелкую дробь. Пальцы окоченели вокруг березовой рукояти ножа, прижатой к груди. Тело свернулось эмбрионом на колючей хвое, сокращая площадь теплоотдачи до минимума.

В верхушках сосен шумел верховой сквозняк. Где-то далеко за юго-западным горизонтом вспыхивали немые зарницы: тяжелая артиллерийская канонада сотрясала земную кору, заставляя вибрировать песчинки под щекой.

Забытье накатило тяжелым свинцовым пластом.

В сознание снова просачивались чужие картины: запах махорки «Дукат» от суконного отцовского картуза, скрип рейсфедера в чертежной путейского ведомства, строгий голос законоучителя Тверского реального училища. В этой памяти не находилось места ни кумачу, ни рубиновым звездам. Над дубовой классной доской темнел Спас Нерукотворный в серебряном окладе, а на парадной стене золотился мундир Государя с широкой Андреевской лентой через плечо. Огромная сословная империя, скрипя волостными правлениями, купеческими гильдиями и казенными палатами, встретила лето сорок первого года под звуки церковного набата и манифесты Совета министров.

Германские дивизии ломали приграничные заслоны с той же методичной, чудовищной жестокостью.

Рассветный свет пробился сквозь кроны серым свинцом.

Суставы одеревенели за ночь; попытка разогнуться отозвалась тупой тянущей болью в крестце. На левой пятке лопнул водяной пузырь мозоли — ткань постола пропиталась едкой липкой сукровицей, резавшей мясо при каждом шаге.

Второй день пути начался без промедления.

Хвойный бор сменился плотным березняком с непролазными стенами крушины и орешника. Упругие ветви хлестали по лицу, сдирая нежную кожу со скул.

К полудню чаща разомкнулась.

Впереди развернулась широкая котловина, заросшая малиновыми шапками иван-чая и диким кустарником. За котловиной просматривался сухой песчаный вал — идеальная навигационная нить для выхода на юго-восток, в обход гиблых топей.

Нога переступила через замшелый березовый валежник.

Удар обрушился без предупреждения. Без шороха. Без оптической вспышки.

Пространство между стволами спрессовалось в монолитную раскаленную массу. Невидимый таран вышиб воздух из легких.

Диафрагма скрутилась узлом. Из желудка в гортань ударила едкая желчь, выплеснувшись на пушистый мох зеленоватой пеной. Височные кости затрещали под давлением гидравлического пресса.

В нервные узлы хлынула агония сотен разрываемых тел. Не звук — прямое выжигание коры головного мозга. В черепной коробке одновременно рвались легкие от осколочного железа, обугливалась живая кожа, захлебывались кровью детские гортани, хрустели кости под тяжелыми траками в разбитых стрелковых ячейках.

За лесистым гребнем, в четырех верстах южнее, шла бойня. Массовое уничтожение людей порождало черное излучение, рвавшее проводящие пути детской нервной системы на кровоточащие лохмотья.

Из обеих ноздрей толчками брызнула горячая кровь. Соленая густая жижа залила подбородок, закапала на холст рубахи темными тяжелыми кругами.

Поле зрения схлопнулось в булавочный укол. Лощина, сосны, небо — все померкло в серой круговерти. В фокусе осталась одна-единственная точка: серый слизень на ржавом листе папоротника в пяти дюймах от носка левой ноги. Влажные рожки моллюска медленно втягивались и расправлялись; блестящая клейкая слизь тянулась по чешуйчатому стеблю. Взгляд намертво прилип к этому движению. Мир застыл в пульсации скользкого брюшка, пока мозг плавился под шквалом чужой агонии.

Глазные сосуды лопнули, залив белки багровой сеткой.

Новый шаг вперед проломил бы черепную коробку изнутри.

Мышцы ног отказали, превратившись в два куска мертвого дерева. Пальцы рук судорожно вгрызлись в гравий, сдирая ногти до мяса и загоняя под кожу острую кварцевую пыль.

Назад. Только назад.

Тело развернулось на четвереньках под диктовку слепого спинномозгового рефлекса. Шаг назад. Еще шаг.

Перемещение на двадцать шагов к северу принесло едва заметное ослабление тисков. Внутричерепное давление снизилось на долю миллиметра ртутного столба. Вязкий, плотный воздух снова распался на смесь газов, позволив втянуть в обожженную гортань порцию кислорода.

Разворот на сто восемьдесят градусов. Бег.

Подошвы не выбирали опоры. Сухие еловые сучья хлестали по векам, рвали холщовые рукава, взрезали эпидермис на ключицах, но бегство в северный квадрант не замедлялось ни на секунду. Каждый шаг прочь от невидимого эпицентра чужой агонии возвращал связкам способность сокращаться. Волна чужой предсмертной боли отступала неохотно, оставляя за собой гудящую пустоту в лобных долях, привкус окисленного железа на корне языка и ледяной пот, стекавший по реберным дугам к паху.

Движение оборвалось лишь у края верхового болота, где под лаптями зачавкала черная торфяная жижа.

Трахея и бронхи пылали сухим жаром. Слюна сгустилась в белесый пенистый комок, запекшийся в углах губ. Кровь из носовых ходов перестала сочиться, оставив в носоглотке плотные, студенистые тромбы.

Судорожный кашель сотряс грудную клетку на замшелом кочкарнике. Рука соскребла с лица корку грязи грубым предплечьем. Домотканый холст пропитался бурым и серым: сукровица, торфяная взвесь и соль превратили ткань в наждачную шкуру, сдиравшую верхний слой кожи при каждом движении.

Биологический компас внутри черепной коробки функционировал с неумолимой, механической точностью пеленгатора. Нервные узлы реагировали на разрывы чужих жизней, улавливая излучение массовой гибели людей. Пространство на востоке и юго-востоке пульсировало непроходимой стеной боли: там дробились под артобстрелами стрелковые полки, горели санитарные эшелоны, плавились в огне бревенчатые избы. Прямой вектор движения блокировался спазмом сосудов головного мозга. Путь к спасению оставался один — уклонение, петли, бегство в глухие, ненаселенные сектора тайги, где мертвая древесина гнила без свидетелей.

Плата за сохранение рассудка оказалась сокрушительной: строгая штурманская прокладка курса рассыпалась в прах. Точный азимут растворился среди мочажин, багульниковых пустошей и бесконечных изгибов лесных грив.

Начался отсчет слепого, блуждающего перехода.

Третий день пути стер границу между бодрствованием и горячечным оцепенением.

Хвойный массив сгустился в глухой завал. Столетние ели стояли впритирку, смыкая нижние мертвые ярусы в непроницаемый костяк. Продвижение на сотню саженей требовало непрерывной борьбы с сухостоем: сучья отламывали ногти, вспарывали кожу на предплечьях до мяса, оставляли на скулах глубокие рваные борозды. Мелкая древесная труха сыпалась за воротник, вызывая непрекращающийся кожный зуд.

Дневная норма питания сократилась до микроскопических величин.

На рассвете лезвие ножа отсекло кубик свиного сала размером в половину спичечного коробка. Плотный соленый брусок не подвергался разжевыванию: жировая масса застыла за щекой, медленно тая под действием редких капель скудной слюны. Ржаной сухарь распался под нажимом клинка на четыре сухих осколка. Очередная порция удерживалась на языке до полного распада мучных волокон; челюстные суставы сжимались с механической монотонностью, растирая каждую крупинку крахмала в жидкую кашицу.

Брюшная стенка втянулась внутрь, намертво прилипнув к позвоночному столбу. Реберные дуги и гребни подвздошных костей проступили под кожей острыми каркасными шпангоутами. В эпигастрии пульсировал плотный ком спазмированного желудка, выбрасывающего в пустую полость порции горькой зеленоватой желчи.

Обезвоживание терзало ткани яростнее любых спазмов.

Проточные ручьи с песчаным дном исчезли, уступив место стоячим болотным окнам, затянутым буро-зеленой пленкой железистых бактерий и мелкой ряской. Употребление сырой жижи грозило вспышкой дизентерии или тифозным поражением кишечника, несущим гибель детскому организму.

Остановка у края трясины превратилась в технологический процесс, выверенный до секунды.

Острие ножа надрезало бересту на упавшем стволе, отделив гибкий белый пласт. Пальцы скрутили кору в узкую коническую воронку. Запасная льняная онуча из вещмешка, сложенная вчетверо, легла на дно импровизированной емкости. Мутная болотная вода, медленно процеженная сквозь волокна домотканого полотна в берестяной ковш, теряла торфяную взвесь, но сохраняла тяжелый, затхлый дух гниющих водорослей. Ледяная жидкость обожгла пищевод, вызвав судорогу диафрагмы, но восстановила давление в сонных артериях.

К исходу третьих суток на левой пятке прорвалась застарелая водяная мозоль, обнажив багровое дно глубокой трофической язвы. Каждый шаг отдавал в тазобедренный сустав острой стреляющей болью металлического шипа, вбитого в пяточную кость.

Подол холщовой рубахи пошел на бинты: оторванная полоса ткани туго охватила стопу, стянутая узлом на лодыжке. К полуночи волокна пропитались желтоватым экссудатом и кровью, заскорузнув на ране жесткой неподвижной коркой.

Четвертый день накрыло серым куполом непрерывного холодного дождя.

Небо сочилось водяной пылью, насквозь пропитывая хвою, моховой покров и одежду. Холщовые штаны и куртка налились свинцовой тяжестью, облепили тело липким холодным пластырем, высасывая остатки тепла из внутренних органов. Мелкие сосуды пальцев спазмировались; кожа на подушечках побелела, сморщилась глубокими бороздами и утратила тактильную чувствительность.

Отсутствие калорий перестало отзываться острыми приступами боли.

Истощение перешло в ровный, отупляющий низкочастотный гул во всей костной структуре. Мышечные волокна бедер и икр деградировали: связки и сухожилия натянулись под тонкой кожей струнами. В затылке возникла невесомая пустота, сопровождаемая непрекращающимся тонким свистом в среднем ухе на предельной частоте.

Язык обложило бурым налетом. Из гортани вырывался отчетливый сладковато-гнилостный запах ацетона — химический маркер распада собственного белка и кетоацидоза.

Тридцатипятилетний опыт флотского инженера и шкипера, расчетливая воля взрослого командира удерживали контроль над угасающим одиннадцатилетним телом. Сознание разбивало движение на цепочку элементарных физических операций.

Шаг. Вынос правой ноги вперед. Контроль угла наклона стопы. Перенос массы на поврежденную пятку, игнорируя электрический разряд боли в ране. Подтягивание левой голени. Балансировка корпуса. Шаг.

Автоматическая биомеханика ходьбы полностью выключилась. Преодоление каждого метра требовало прямой команды моторной коры: разогнуть коленный сустав, удержать равновесие на склизком стволе березы, компенсировать крен от вещмешка, не допустить опрокидывания тела лицом в мох.

К вечеру четвертых суток исчезла последняя крошка сухаря.

На дне мешка остался лишь кусок серой оберточной бумаги со щепотью крупной неочищенной соли. Пара серых кристаллов легла на иссушенные вкусовые сосочки, вызвав жгучий спазм слюнных протоков.

Ночлег в земляной нише под вывернутыми корнями упавшей ели прошел в прерывистом беспамятстве.

Сырость проникала сквозь ребра прямо к сердечной сумке. Крупная, неуправляемая дрожь сотрясала скелет — организм расходовал последние запасы гликогена на терморегуляцию. Пальцы правой руки намертво заклинило на берестяной рукояти ножа, прижатого к телу под мышкой, в единственной точке сохранившегося тепла.

Пятый день начался с резкого, слепящего удара солнечных лучей, пробивших слой тяжелых дождевых туч.

Прямые световые полосы рассекали полумрак елового полога. Капли конденсата на иглах вспыхивали яркими точками, раздражая воспаленную конъюнктиву. Почва прогревалась, источая густые испарения болотного багульника и смолистую горечь разогретой коры.

Передвижение происходило по законам чистой инерции.

Коленные чашечки проваливались при малейшей неровности рельефа. Вещмешок, опустевший до ножа, запасных тряпок и щепотки соли, давил на ключицы гранитной плитой, сбивая ритм дыхания.

Зрительный анализатор выдавал искаженные проекции.

Белые стволы берез двоились, выстраиваясь в монолитные колоннады разрушенных заводских цехов; тени еловых лап на мху превращались в развертки чертежей судовых паровых машин и турбинных роторов. Металлические конструкции прежней жизни накладывались на таежный бурелом, теряя четкость контуров.

Внезапно барабанные перепонки зафиксировали новый акустический раздражитель.

Сквозь шелест крон и внутренний высокочастотный писк пробилась ритмичная серия глухих ударов.

Стук. Размеренное, тяжелое соударение кованого железного обода о сухое дерево ступицы.

Следом долетел протяжный, надсадный визг несмазанной ступицы: сухое дерево скрежетало о раскаленную кованую ось.

Подошвы мгновенно вжались во влажный мох. Пальцы вцепились в ствол молодой осины; серо-зеленая кора соскользнула под ногтями с коротким сырым хрустом, оставив на подушечках горький липкий сок.

Легкий низовой сквозняк, потянувший с восточной просеки, принес плотную волну тяжелых запахов.

Первым ударил едкий, ядовито-кислый пар горячего конского пота, смешанный с запахом прелой шерсти. Следом накатила аптечная резь: неочищенная карболовая кислота, формалин, удушливый дегтярный дух лизола. Под этой химической пленкой ворочалась сладковатая, липкая вонь сукровицы и разлагающейся на жаре плоти, въевшейся в прелую ржаную солому. Завершал эту смесь тонкий, горький дым самосада — сухой тлеющий лист махорки.

Слюнные железы отозвались на запах дыма и живого тепла мучительным спазмом под челюстью; пустой желудок сжался в тугой, колючий ком.

Живые. Люди.

Дыхание застряло в горле. В грудине заколотило с новой силой, отдаваясь частыми, глухими ударами в истонченных сосудах висков.

Спуск к дороге сквозь сплетения орешника растянулся на двадцать минут предельного напряжения мышц. Суставы коленей распрямлялись по миллиметру, гася малейший толчок в икрах. Пальцы ног сквозь ветхую ткань онучей нащупывали каждый сучок, осторожно вдавливая его в мягкую прель без единого звука. Руки медленно, сантиметр за сантиметром, отводили упругие ветви орешника, предотвращая хлесткие обратные удары по листве.

Впереди, в полусотне саженей за редкой полосой березового подроста, открылась глубокая лесная дорога.

Грунтовое полотно превратилось в сплошное серое месиво. Сотни кованых копыт и широких колесных ободьев перемешали глину с гравием в густую кашу. Вдоль обочин чернели водоотводные канавы, до краев наполненные рыжей застойной жижей с плавающими шапками болотной пены.

В этой трясине медленно вязла колонна.

Два десятка крестьянских повозок и длинных фурманок, запряженных взмыленными, исхудавшими битюгами и малорослыми местными лошаденками, с натугой преодолевали колею. Окованные полосовым железом колеса резали вязкую жижу со скрежетом, выгребая спицами тяжелые комья глины и швыряя их под ноги конвоирам.

На настилах подвод, поверх тонкого слоя мятой соломы, лежали тела.

В глаза бросались бинты. Десятки метров грязно-серых полос полотна, почерневших от пыли, набухших бурой коркой запекшейся крови и зеленовато-желтыми подтеками гноя. Черепа, забинтованные до самых надбровных дуг; культи предплечий и голеней, намертво прихваченные пеньковыми веревками к лубкам из грубой неотесанной щепы. Заострившиеся, обтянутые пергаментной кожей лица с черными провалами вокруг закрытых глазниц; растрескавшиеся, сухие губы, покрытые коркой запекшейся слюны.

В пространстве над колонной не было той острой, расщепляющей череп ярости внезапной гибели, что осталась позади на железнодорожном перегоне.

Здесь стоял иной фон. Тягучий, чугунный свод застарелой боли, изнеможения и затухающего сопротивления плоти. Этот медленный пульс десятков воспаленных ран давил прямо на теменную кость, вызывая острую ноющую ломоту в коренных зубах и холодный, липкий пот вдоль позвоночника.

На передней подводе горбился старый ездовой в полинявшей холщовой косоворотке с расстегнутым воротом. Челюсти старика мерно перекатывали в зубах короткую деревянную трубку, выпуская в сырой воздух сизые струйки горького дыма.

Вдоль обоза шли санитары и стрелки охранения.

Серое армейское сукно походных гимнастерок без карманов, темно-зеленые шаровары, заляпанные грязью до самых колен, юфтевые сапоги с грубыми складками на щиколотках. На широких ремнях яловой кожи поскрипывали брезентовые патронные сумки; латунь поясных блях с рельефным чеканом двуглавых орлов потускнела от сырости и оружейного нагара. На

защитных суконных погонах чернели трафаретные номера пехотного полка и выделялись алые полосы санитарного ведомства.

Эвакуационный санитарный транспорт. Армейский лазарет, вытягивающий уцелевших из прифронтовой полосы на восток по глухим лесным проселкам.

Шаг из укрытия на травянистую бровку канавы сорвался.

Ослабевшая правая стопа соскользнула с влажного дерна. Сухой сук крушины, скрытый под слоем прошлогодней листвы, переломился с резким, сухим щелчком.

Звук в плотном воздухе лесного полдня ударил с силой пистолетного выстрела.

Стрелок, шагавший у колеса второй подводы, среагировал мгновенно. Фуражка с помятым защитным козырьком дернулась вверх. Заросшее серой недельной щетиной лицо перекосилось; серые зрачки расширились, вперившись в разрыв между ветвями орешника.

Тело солдата сработало по отточенным схемам окопной выучки.

Тяжелая пехотная трехлинейка сорвалась с правого плеча единым, слитным движением. Стебель затвора взметнулся вверх, скользнул назад и с сухим стальным лязгом загнал патрон в патронник. Вороненый ствол замер на линии глаз, а черное граненое перо штыка уперлось острием прямо в грудь замершего на бровке подростка.

— Стой! — хриплый, надсаженный табаком и пылью рык вспорол тишину. — Ни с места! Выходи с поднятыми руками, сучье отродье! Стреляю наглухо!

Второй конвойный позади телеги с плеском спрыгнул в придорожную канаву, перехватывая винтовку наперевес и отсекая путь назад в чащу. Сапоги захлюпали по жидкой глине.

Найденыш

Трехгранное вороненое перо штыка замерло в полудюйме от правой ключицы. Сквозь ветхую, пропотевшую ткань холщовой рубахи металл обжигал кожу сухим ледяным уколом, вызывая непроизвольный спазм подкожной мышцы шеи. Острие вздрагивало с мелкой, дробной частотой: руки пехотинца на березовом цевье трехлинейки вибрировали от глухого мышечного истощения после многоверстового форсированного марша.

— Руки, сучье отродье! — харкнул солдат. Вязкая желтая слюна сорвалась с обвислых прокуренных усов, оставив мутный след на мушке винтовки. — Руки вздень к небу, кому велено!

Острые детские плечи судорожно дернулись вверх. Ладони с содранной о валежник бурой кожей и черным торфяным осадком под ногтями раскрылись навстречу стволу. Коленные чашечки заклинило в полусогнутом упоре; малейшее смещение центра тяжести на правую пятку отзывалось острой пульсацией во вскрывшейся, сочащейся сукровицей мозоли. Пальцы босых ног судорожно вжались в подушку влажного мха, удерживая неустойчивый двенадцатилетний каркас от падения на колени.

Со стороны придорожного кювета донеслось тяжелое чавканье развороченной жижи. Второй конвойный, переваливаясь в пудовых юфтевых сапогах по серой пластичной глине, выбрался на обочину. Потрепанный погон пехотного полка сбился под ремень амуниции, латунная бляха с двуглавым орлом покрылась шершавым налетом зеленого окисла. Широкая рука в заскорузлых мозолях с треском сорвала с плеча Андрея парусиновую лямку вещмешка.

— Пусто тут, Фома, — сипло выдавил второй, выворачивая холщовое нутро торбы прямо на мох. — Кусок каменной соли в тряпице, ветошь льняная. Да сапожник на дне лежал, лезвие в палец.

Ствол трехлинейки остался неподвижен. На заросшей щетиной скуле Фомы забился мелкий нервный тик: правый зрачок солдата сжался в булавочную головку от яркого полуденного света и порохового нагара, левый же плавал мутным бельмом застарелого контузионного отека. На вытертом прикладе винтовки темнела свежая зарубка, сделанная кривым гвоздем.

— Чей будешь, волчонок? — скрежетнул солдат сухим гравием пересохшей глотки. — Из каких щелей вылез? По лесу за обозом шакалить обучен?

Гортань стянуло спазмом, превратив слизистую оболочку в сухую известковую корку. Язык с трудом отлип от нёба, во рту стоял кислый привкус сырого торфа.

— Эшелон… расколошматило бомбами, — протолкнули голосовые связки надтреснутый, хриплый фальцет. — Под насыпью теплушки полыхали. Брусом по темени шибло… Дни по солнцу считал в болотах.

— Фамилия? Чьего гнезда? По какому податному ведомству приписан?

Вопрос ударил в виски тяжелым молотом. Тело ответило мгновенной реакцией отторжения: спинные мышцы одеревенели, челюсти сжались до скрежета эмали. Перед глазами

всплыли образы прошлой жизни: синий форменный картуз отца со скрещенными топориками путейского ведомства, заплеванный угол уездного училища, ядовитое уличное клеймо «Шалопай» и тычки купеческих сынков в худую шею. Мещанская фамилия Шалопаев жгла внутренности раскаленным железом. Назвать ее сейчас — значило добровольно вернуть на шею ярмо сословного дна, впечатать себя в списки бесправных беженцев путейского участка, обреченных на тифозные распределительные бараки.

— Не помню, — челюсти разомкнулись лишь на миллиметр, выдавливая тупой, плоский звук. — От удара в затылок память отшибло начисто. Только имя осталось. Андреем кличут.

Фома с отвращением сплюнул под ноги коричневую жижу махорочного самосада.

— Память у него, гляди-ка, начисто вымело, — солдат качнул штыком, заставив отступить спиной в шершавую кору молодой осины. — А сапожный резачок за голенищем прятать память не отшибло? Ножичек-то воровской засапожник. Шпана пристанционная, нутро сразу видать.

Скрип немазаных деревянных ступиц по вязкой колее оборвался. От головной подводы медленной, шаркающей походкой подошел коренастый старик в заскорузлой парусиновой безрукавке поверх расстегнутой косоворотки. На морщинистой жилистой шее покачивался оловянный крест на засаленном гайтане, клиновидная седая борода топорщилась жесткими иглами. От старика разило ядовитой смесью соснового скипидара, березового дегтя, карболовой кислоты и едкого самосада. Глаза из-под нависших бровей впились в лицо мальчишки с въедливой цепкостью лазаретного сортировщика.

— Опусти железо, Фома, — глухо бросил старик густым прокуренным басом. — Не видишь — жилы светятся, пацан на одном упрямстве стоит. Контуженый наглухо. Глянь на сосцевидный отросток: за правым ухом гематома с гусиное яйцо, корка запекшейся сукровицы в палец толщиной.

Старческая ладонь, сплошь покрытая бурыми пятнами въевшейся марганцовки, протянулась к отобранному ножу. Пальцы фельдшера ловко перехватили рукоять из карельской березы, ноготь большого пальца с сухим щелчком прошелся по лезвию, проверяя угол заточки.

— Хирургическая сталь, чистая работа, — констатировал старик, опуская нож в глубокий боковой карман просмоленного брезентового фартука. — Вещь казенная либо срезанная с мертвого. При лазарете послужит. Звать-то как, малец?

— Андреем, господин фельдшер, — связки выдали выверенную, просительную интонацию подобострастия, вбитую в подкорку казенными правилами империи.

Старик осклабился в бороду, окинув взглядом ссадины на тонких ключицах и разорванные холщовые порты:

— Господа в столице в каретах на рессорах раскатывают да в министерствах гербовую бумагу марают, парень. А я старший фельдшер Корнеич. Десятый полевой подвижной транспорт тридцать третьей пехотной дивизии. Документы при тебе имеются? Метрическая выписка из консистории? Билет эвакуационный с гербовой печатью?

— Сгорело все в теплушке, — пальцы рук рефлекторно сомкнулись в кулаки, пряча содранные ногти. — Матушкину сумку вместе с сундуком взрывом в щепы разметало.

Корнеич выпустил сквозь желтые зубы плотную струю сизого дыма:

— Вот тебе и весь сказ. Нет метрики — нет сословия, нет имени, нет прав на пайку. По уложению военного времени таких бродячих найденышей либо в комендантский взвод сдают до выяснения личности, либо под колесо сталкивают, чтоб санитарный гуж не задерживали. В комендатуре разговор короткий: затылок намнут, определят в штрафную рабочую команду гати мостить да воронки от фугасов засыпать за полфунта мерзлого овса в сутки.

Взгляд фельдшера скользнул вдоль обозной колонны, где под выцветшим брезентом повозок глухо, с надрывом хрипели раненые.

— Пальцы гнутся? — спросил старик, ткнув костяным черенком трубки в грудину подростка. — Ведра из ручья таскать годен? Скребком конские крупы от навоза драть силенок хватит?

— Справлюсь, господин Корнеич. Все до капли исполню.

— Тогда ступай к третьей повозке. Будешь прислужником без содержания. Подавать, выносить, кровавую ветошь в ручье полоскать, конский навоз из-под ступиц выгребать. За пайку черных сухарей и лазаретный кипяток. А заметит Фома, что чужое из ранцев тянешь — шомполами исполосует так, что кости через мясо наружу вылезут. Пошел.

Утрата засапожного ножа отозвалась в солнечном сплетении тянущей, сосущей пустотой. Единственный инструмент, гарантировавший автономность и защиту, исчез в чужом кармане. Ноги, принимая навязанный статус бесправного приживалы, тяжело шагнули в холодную дорожную жижу.

Обозная колонна втягивалась в чащу со скрипом рассохшегося дерева и металлическим бряцанием колесных чеканов.

Грунтовая дорога превратилась в сплошную канаву из серой студенистой глины, скрытых под водой корней и острых гранитных валунов. Лошадиные хребты вздымались в тяжелом мышечном усилии; пар от их мокрых боков поднимался плотным, кислым туманом, смешиваясь с гнилостным запахом прелого сена, конской мочи и застарелой крови.

Третья подвода двигалась с ритмичным, натужным взвизгиванием расшатанной левой ступицы. На дощатом настиле из неоструганных сосновых плах, поверх тонкой прелой соломенной подстилки, лежали трое тяжелораненых.

Ближе к правому борту метался молодой стрелок с раздробленным предплечьем: лубки из сосновой щепы были намертво прикручены к руке полосами серой неочищенной парусины, сквозь которую толчками проступала черная сукровица с гнилостным запахом разложения тканей. Посередине вытянулся пожилой ополченец с многослойной марлевой повязкой, закрывавшей верхнюю половину черепа; из-под серой марли выступал лишь заострившийся синюшный

нос и растрескавшиеся до кровавых борозд губы. Третий лежал ничком, подтянув колени к подбородку, и при каждом ударе колеса о скрытые в грязи валуны судорожно впивался скрюченными пальцами в щелястый борт телеги.

Фоновый гул чужой агонии висел над подводой тяжелым, свинцовым куполом.

Нервная система принимала эти колебания без участия слуха и зрения: очаг давления концентрировался в области затылочной кости, спускаясь по спинному мозгу частыми, колющими электрическими разрядами. Каждый приглушенный стон лежащих на досках тел отзывался синхронным спазмом в височных артериях. Боль не взрывалась сокрушительным ударом, как в момент гибели эшелона под бомбами, но изматывала непрерывным тягучим давлением, забивая сознание мутной токсичной тяжестью чужих разрушенных клеток.

— Водицы… — сорвалось с запекшихся губ ополченца. Шепот походил на шелест сухого репейника. — Паренек… глоток… Христа ради…

Деревянная баклага, висевшая на кованом крюке у борта повозки, весила добрых пять фунтов. Детские негнущиеся пальцы с трудом выдернули деревянную затычку, обернутую влажной паклей с привкусом речной тины и железа.

Краешек горлышка прижался к растрескавшимся губам раненого. Мутная вода потекла тонкой струей, смывая бурые корки в уголках рта; тяжелые капли срывались с небритой щетины на грязный воротник казенной гимнастерки. Ополченец глотал судорожно, кадык под пергаментной шелушащейся кожей дергался мелкими скачками. Случайное прикосновение к его ладони — раскаленной, липкой от гнойной лихорадки — вызвало мгновенный пробой: подушечки пальцев Андрея обожгло резким термическим ударом. В затылок вонзилась острая фантомная спица, заставив отдернуть руку и затаить дыхание.

— Хватит поить, захлебнется, — прохрипел с козел ездовой, не оборачиваясь и хлеща вожжой по крупу коренника. — Опоишь нутряного до срока — кишки лопнут от гноя. Шагай вровень с колесом, гляди, чтоб тюки с карболкой на ухабе в ров не сковырнулись.

Грязь комьями налипала на порты, превращая каждый шаг в подъем дополнительного веса. Босые ступни непрерывно скользили в холодном иле. Детский организм балансировал на грани функционального отказа: четырехглавые мышцы бедер налились жгучей молочной кислотой, диафрагма сбивалась на поверхностный, прерывистый ритм. Опыт прежней жизни заставлял непрерывно контролировать механику движений: удерживать короткую длину шага, распределять нагрузку на всю плоскость стопы, избегать бокового скручивания голеностопного сустава при попадании в глубокие колеи.

Сосновый массив расступился только к исходу сумерек.

Обоз выполз на широкую вырубку, стиснутую крутым глинистым увалом и дугой мелкой порожистой речки. В полусотне саженей впереди проступили темные очертания заброшенной водяной мельницы с разрушенным сбросом плотины и просевшим бревенчатым срубом. От стоячей речной заводи тянуло холодом, тиной и запахом преющей березовой коры. Колеса головных повозок с глухим стуком остановились, погрузившись ступицами в прибрежный мокрый песок.

— Стой! — разнеслась над колонной команда подскакавшего верхового в защитном кителе с серебряными капитанскими погонами. — Транспорту развернуться на поляне! Обоз в каре! Натянуть палатки! Корнеич, сортировочный пункт у мельницы ставить! Живее, черти, до темноты управиться!

Копыта капитанского мерина взрыли рыжую глину, обдав брызгами переднее колесо повозки. Обозные кони, хрипя и роняя хлопья пены на постромки, натужно потянули груженые телеги с разъезженной колеи на траву. Скрип несмазанных ступиц, мат ездовых и щелканье кнутов слились в единый тяжелый гул, заполнивший чашу лесной низины.

Началась изнурительная, механическая лагерная работа.

Тяжелые полотнища лазаретных палаток отдавали застарелой сыростью, медным купоросом и едким духом просмоленной парусины. Пальцы мгновенно покрылись глубокими занозами от сосновых кольев. Увесистая деревянная колотушка с глухим, костяным стуком вгоняла клинья в каменистую почву поляны. Каждый удар отзывался в детских локтевых суставах резкой вибрацией, от которой немели предплечья. Тонкая кожа на ладонях не выдержала трения о неструганую рукоять: пузыри мозолей лопнули, обнажив сырое розовое мясо. Сукровица смешалась с древесной трухой, и малейшее соприкосновение с грубой тканью брезента отзывалось острой вспышкой в нервных окончаниях.

— Не стой столбом, Андрейка! — гаркнул Корнеич, с грохотом сбрасывая с телеги ящики с казенным перевязочным материалом. — Ведра хватай! На речку бегом! Воды для котлов натаскай, да чтоб чистая была, без взвеси! Песок в ране — верный антонов огонь и смерть на третьи сутки!

Цинковое десятилитровое ведро с помятым боком и тонкой проволочной дужкой врезалось в содранную ладонь. Пришлось перехватить дужку концом домотканого рукава, распределяя давление по пястным костям.

Спуск к реке представлял собой крутой глинистый обрыв, густо изрезанный узловатыми корнями ольхи. Наклонившись к темной ледяной струе, зачерпнул воду до самого края. Масса наполненной емкости мгновенно потянула плечевой сустав вниз, натянув связки до сухого щелчка в ключице. Подъем наверх превратился в бесконечную борьбу с гравитацией и инерцией: стопы в растоптанных постолах буксовали в осыпающемся песчанике, корпус клонило вперед, холодная речная волна при каждом шаге выплескивалась через край, пропитывая холщовые порты до колен. Десять ходок. Пятнадцать. Двадцать. Мышечные волокна поясницы и бедер одеревенели, мелкая дрожь в коленях грозила опрокинуть тело на круче при каждом неверном движении.

Постепенно лагерь приобретал очертания полевого военно-санитарного пункта.

Над замшелой крышей мельничного сруба взметнулся выцветший флаг Красного Креста с черным императорским орлом в верхнем углу полотнища. Внутри полутемного помещения санитары наскоро сбивали из неструганых еловых досок длинные столы, застилая их клеенкой, пахнущей фенолом, формалином и скипидаром. Острый медицинский дух вытеснял из углов вековой запах затхлой мучной пыли и мышиного помета.

К сумеркам территория четко разделилась на функциональные зоны.

В длинной солдатской палатке на слое прошлогодней соломы разместились полтора десятка легкораненых, вывезенных с утренней колонной. В воздухе стояла плотная, тяжелая взвесь: испарения немытых тел, прелые суконные портянки, кислый запах загноившихся повязок и едкий дым самосада-махорки, которым солдаты глушили сверлящую боль в раздробленных костях. Офицерская палатка — просторная, натянутая в отдалении под кронами вековых вязов — стояла пустой. Чистые холщовые тюфяки на раскладных деревянных топчанах ждали чинов, требовавших сословного обособления даже на пороге лазаретной койки.

Корнеич расположился возле мельничной стены, пристроив на перевернутом ящике из-под бинтов шаткую конторку. Рядом коптила керосиновая лампа «летучая мышь». Мутное стекло покрылось полосами сажи, отбрасывая на исчерканные страницы лазаретной книги дрожащие бурые пятна. Фельдшер периодически слюнявил химический карандаш, оставлявший на его потрескавшейся нижней губе темно-фиолетовый след, и выводил корявые строчки в графах поступления личного состава.

— Садись к столу, работничек, — прохрипел старик, не поднимая тяжелых век из-под нависших бровей. — Пайку за день отработал.

На дощатый край легла половина черствого ржаного сухаря, серая деревянная ложка и глиняная плошка с густым варевом. Из походного котла, где булькала разваренная пшенная крупа на старой конине, исходил пар, насыщенный запахом топленого нутряного сала и лаврового листа.

Первая же ложка обожгла небо и пищевод. Вкус разваренного проса, животного жира и соли отозвался в желудке мощным спазмом, мгновенно запустившим расщепление калорий по истощенным тканям. Зубы с сухим треском раздробили каменистую корку сухаря. Челюстные мышцы работали мерно, дробя крупицы ржи в жидкую кашицу до последнего грамма крахмала. Ни единой крошки не упало на утоптанную землю под ногами; взгляд неотрывно фиксировал траекторию ложки от глиняного края ко рту.

Захлопнув конторскую книгу с жестяными уголками, Корнеич уставился поверх круглых очков в дешевой проволочной оправе.

— Вот что скажу тебе, малый, — фельдшер постучал закопченным мундштуком трубки по крышке ящика. — Парень ты смирный, хваткий, в глазах дури нет, руки к делу прилажены. Но запомни крепко: здесь армейский порядок. Здесь каждый штык на строгом учете, каждый патрон в ведомости коменданта прописан, каждая буханка хлеба по ранжиру делится. А ты — пустое место. Тень от дерева. Без метрической выписи от приходского священника тебя в этой империи юридически не существует. Нет бумаги — нет человека.

Старик придвинул лампу ближе. Желтый круг света выхватил худое, заострившееся лицо подростка, темные круги под глазами и запекшуюся кровь на пальцах.

— Спросит кто из господ офицеров — отвечай твердо: лазаретный служка при фельдшере Корнееве. Про прежнюю фамилию забудь наглухо, покуда документы не выправим. Будешь возле меня крутиться, котлы мыть, воду таскать, бинты стирать — будешь сыт, одет и под трибунал за дезертирство не угодишь. Но ежели сунешься куда не след, али в офицерскую

палатку без спросу заглянешь — враз под арест пойдешь как бродяга безродный. А с бродягами в прифронтовой полосе разговор короткий: за бруствер и пулю в затылок. Усек порядок?

— Усек, господин Корнеич, — прозвучал ровный голос, пока взгляд отмечал фиолетовый ободок химического карандаша под ногтем фельдшера. — Все предельно ясно.

— То-то же. Ступай к котлу, отскреби нагар речным песком, да вали спать на солому у мельничного порога. Ночь нынче глухая будет. До фронта верст тридцать, не меньше, артиллерия пока на перевалах возится.

Полночь опустилась на лагерь плотным пластом ледяного тумана.

Речка шумела на каменистых порогах однообразным, усыпляющим плеском. Температура воздуха упала к нулевой отметке: выдох вырывался из груди белесыми клубами пара, оседая на парусине палаток хрустящей ледяной крупкой. В солдатском шатре слышался неровный, хриплый храп, перемежаемый тихими стонами, скрипом соломы и бормотанием спящих в бреду людей.

Сон не давал отдыха.

Внутри черепной коробки шла непрерывная калибровка сенсорных каналов. Сознание взрослого исследователя с математической сухостью фиксировало поступающие биоэлектрические импульсы: слабые сигналы спящих в лагере людей складывались в ровную, низкочастотную сетку колебаний. Это напоминало фоновый гул корабельных турбин на холостом ходу — терпимый, монотонный, легко отсекаемый волевым усилием.

Внезапно слой дерна и суглинка под затылком мелко задрожал.

Сквозь пласты песчаника и глины докатился низкий, утробный рокот. Звуковая волна шла сквозь толщу земли: вибрация сотен железных ободьев, тяжелых ступиц и моторов, ломающих лесные гати за западным перевалом. Далекая канонада, стихшая к вечеру, возобновилась с удвоенной силой. Серия частых, глухих ударов сотрясала плотные слои воздуха, отчего тонко звенели медные тазы, подвешенные к стропилам мельницы.

Через четверть часа темноту лесной просеки прорезал слепящий белый луч ацетиленовых фар.

Тяжелый армейский грузовик «Руссо-Балт» с брезентовым тентом, надсадно взревев изношенным мотором на раскисшем подъеме, выломился на поляну. Сдвоенные задние скаты взметнули комья жирной грязи, облепив борта повозки. Следом за машиной, взрезая тишину истошными выкриками ездовых и протяжным конским ржанием, в лагерь втянулась бесконечная вереница подвод.

— Тревога! — прорезал ночную мглу резкий медный свисток дежурного унтер-офицера. — Лазарет, в ружье! Прием раненых! Сортировка к столам!

Сотни свежих, не остывших, развороченных шрапнелью и фугасами тел вкатились на мельничный двор единым хлюпающим, парящим валом. Излучение десятков перебитых нервных стволов, раздробленных надкостниц, вспоротых брюшин и чадящей на холодном воздухе плоти ударило в височные доли, спрессовав ночь в монолитную раскаленную наковальню.

Воздух в гортани мгновенно осел толченым стеклом.

Диафрагма сжалась железным узлом, выталкивая кислый ком каши обратно к небу. В глазницах плеснуло густой темной смолой; сосудистая сетка склер лопнула сотней колющих багровых игл, распирая яблоки изнутри. Черепные швы затрещали под чудовищным напором внутричерепного давления — кости сжимал невидимый гидравлический пресс, вбивая теменные пластины прямо в пульсирующие полушария.

Из левой ноздри частым горячим толчком выплеснулась кровь, мазнула по губам и потекла на ворот холщовой рубахи, оставляя липкий соленый след на ключице.

Биоэлектрический шквал в клочья рвал проводящие пути детского мозга.

На первой телеге заходился беззвучным криком пулеметчик с вырванной по самый пах ногой. Крученый жгут из смоленой пеньки врезался глубоко в паховую складку, прорезав кожу до сизой фасции, но густая венозная жижа все равно толчками пробивалась сквозь размочаленные волокна квадрицепса; этот угасающий, рваный ритм чужого сердца ввинчивался в виски Андрея тяжелым отбойным молотом.

Рядом, на провисших парусиновых носилках, захлебывался штабс-капитан в изодранном офицерском френче без погон. Осколок трехдюймовой гранаты начисто снес нижнюю челюсть, обнажив багровый корень языка и торчащие из развороченного неба осколки желтых зубов. Офицер хрипел, втягивая в трахею пенящиеся сгустки собственной крови, и слепой, парализующий ужас удушья расходился от носилок тяжелой ударной волной, выжигая рецепторы вокруг.

На третьем возке трое бойцов с тяжелыми ожогами от горящего бензола раскачивались из стороны в сторону, выводя непрерывный, тонкий вой на предельной высокой ноте. Их обугленная, растрескавшаяся до сукровицы кожа сочилась таким объемом чистой боли, что сырой туман над телегой вибрировал раскаленным маревом.

Каждая зияющая рана на дворе отзывалась в теле Андрея точным анатомическим слепком. Резкий спазм полосовал собственную брюшину, фантомный раскаленный свинец жег отсутствующие культи, чужая удушающая кровь забивала бронхи, перекрывая доступ кислороду.

— Андрейка! — рявкнул над самым ухом Корнеич, выныривая из мешанины конских крупов, пара и санитарных фартуков. — Хватай за комли! Капитана в перевязочную волоки! Оглох, щенок?!

Костлявые пальцы старика с размаху всунули в ладони Андрея шлифованное дерево ручек.

Холодный, осклизлый от запекшейся сукровицы ясень врезался в содранную кожу ладоней. Чужой вес резко рванул плечевые суставы вниз, заставив позвонки хрустнуть.

Ткань рукава мазнула по мокрому сукну капитанской шинели.

Физический контакт замкнул дугу.

Прямой ментальный пробой снес последние защитные барьеры. Сознание умирающего офицера — мешанина предсмертного бреда, чад горящего блиндажа, беззвучный зов матери и дикая, дробящая лобные кости боль в оторванном лице — хлынула в нервную систему мальчика сплошной разрушительной лавиной.

Окружающий двор исчез.

Пространство сузилось в глухую черную воронку, на дне которой осталась единственная неподвижная точка: жирная зеленоватая муха, намертво увязшая лапками в лужице бурой крови на медной заклепке носилок. Насекомое судорожно било одним уцелевшим крылом, пачкая прозрачную слюду в засыхающей слизи, бессильное оторваться от липкого металла. Взгляд намертво прикипел к этой бессмысленной возне, пока кора головного мозга выгорала под напором чужой невыносимой муки.

Пальцы разжались, потеряв всякую чувствительность. Деревянные рукояти со стуком ударились о мерзлую грязь; раненый офицер судорожно дернулся всем корпусом, давясь новым сгустком.

— Ах ты, тварь криворукая! — взревел санитар с бельмом, подхватывая перекосившееся полотно. — Руки оторву!

Команды фельдшеров, визг хирургических пил по кости, хруст хрящей, запах сырого мяса, креозота и паленой шерсти слились в один сплошной оглушительный гул. Рассудок взрослого человека окончательно капитулировал перед сокрушительной лавиной фронтового лазарета.

Сработал чистый, первобытный рефлекс самосохранения.

Суставы ног сами провернули корпус на сто восемьдесят градусов. Мелкое, сотрясаемое крупной дрожью тело рванулось прочь от мельничного порога, мимо чадящих копотью фонарей, мимо мелькающих ведер с отрезанными почерневшими ступнями.

— Стой! Держи мальчонку! Фома, лови! — хлестнул в спину хриплый окрик Корнеича, потонувший в общем стоне лазарета.

Упругая ветка орешника наотмашь рассекла скулу, пустив по щеке горячую струю, но эта боль даже не дошла до сознания — ее полностью растворил океан чужой агонии, все еще бивший тяжелыми волнами в затылок.

Ноги перемахнули через глубокую придорожную канаву. На дне густо чавкнула холодная глиняная жижа, зачерпнувшись в стоптанный башмак. Оставив позади вонь лизола и ревущий

ад полевой операционной, маленькая фигурка рыбкой нырнула под черные, глухие своды ночной чащи.

Шаг в пекло

Сырая хвоя под ребрами держала ледяную влагу вторые сутки.

Корка засохшей сукровицы на рассеченной скуле стягивала кожу к подглазничной кости, отзываясь дергающим зудом при каждом движении челюстей. Влажный лесной мох у комля вековой ели пропитался стужей, выкачивая последние калории из тощего одиннадцатилетнего скелета. Левая стопа в размокшем постоле онемела, превратившись в деревянную колодку: болотная глина в трещинах кожи заскорузла серым абразивным панцирем.

В ста саженях к западу, за стеной мокрого ольшаника, глухо ворочалась речная заводь у мельничного сброса.

Вместе с монотонным плеском воды сквозь плотный воздух сочилось тяжелое, низкочастотное давление. Лазаретный лагерь выбрасывал в пространство концентрированное биоэлектрическое поле разрушенной человеческой плоти. Сигнал накатывал сплошной прибойной волной: тупое гудение десятков воспаленных операционных швов, свистящий хрип пробитых плевральных полостей, судорожная дробь раздробленных надкостниц. Расстояние срезало пиковую амплитуду, но суммарный вектор боли оставался несжимаемым клином, вбитым прямо в теменную кость.

Пилорус скрутило спазмом, выжавшим в пищевод порцию горькой зеленоватой желчи.

Пустой желудок скрежетал стенками, отзываясь мелким тремором в межреберных мышцах. Задержка в ельнике означала медленный отказ выделительной системы на фоне переохлаждения и ацидоза. Лес не содержал припасов; в холщовой торбе не осталось соляной пыли, а засапожный клинок лежал в глубоком брезентовом кармане старика Корнеича.

Выход оставался один: шагнуть обратно в замкнутый контур лазарета.

Подъем на ноги потребовал строгого расчета векторов нагрузки. Правая стопа уперлась в скользкий корень, левое колено разогнулось со щелчком в суставной сумке. Центр тяжести сместился вперед, компенсируя шаткость узкого таза. Шаг. Еще шаг. Хруст сухого елового сушняка под подошвой отозвался мышечной судорогой в икрах, но моторика подчинилась взрослой воле.

Дистанция до лагерной черты сокращалась с мерностью швартовки тяжелого баркаса в штормовой гавани.

Триста шагов. На границе березняка плотность фонового излучения возросла. Воздух в гортани обрел отчетливый привкус медного купороса; мелкие сосуды в носовых ходах отозвались пульсирующим натяжением стенок.

Двести шагов. Запах прелого дерна вытеснила едкая взвесь аптечного скипидара, карболовой кислоты, хлорной извести и застарелого гноя. Кровяное давление в сонных артериях подскочило, заставив височные доли биться о костяной свод черепа.

Сто шагов. Просвет между стволами обнажил колею у мельничной запруды. На поляне чадили костры, над жестяными чанами с кипящим бельем поднимались белесые столбы пара. У коновязи тяжело переступали битюги, роняя комья пены на раскисшую рыжую глину.

Взгляд выхватил круглую железную заклепку на углу мельничного лотка. Ржавый нарост на шляпке болта, капля мутной речной воды, повисшая на темном металле, — зрение намертво зафиксировало эту точку, выстраивая глухую оптическую плотину против нарастающего шквала чужих физических страданий. Черепные швы трещали, но жесткий фокус на заклепке удержал нервные центры от повторного пробоя.

Нога перешагнула через канаву с бурой застойной жижей. Вязкая грязь с чавканьем сомкнулась над щиколоткой, потянув размокший постол вниз.

— Гляди-ка, вылез, волчонок! — раздался хриплый окрик от телеги с фуражом. Фома в расстегнутом походном мундире опустил охапку прелого сена на землю, вытирая рукавом потный лоб с въевшейся пороховой гарью. — А фельдшер сказывал — утоп в болотах со страху.

Из полутемного дверного проема мельницы выступила коренастая фигура в заскорузлом парусиновом фартуке. Пальцы Корнеича сжимали дымящуюся трубку. Взгляд старика из-под седых кустистых бровей впился в лицо подростка, зафиксировав рассеченную скулу, бурую полосу засохшей крови на холсте рубахи и лихорадочный блеск зрачков.

— Набегался, бродяжья кость? — глухой бас фельдшера прозвучал без гнева, тяжелой монотонностью циркулярной пилы. — Думал, в тайге сытнее, чем у лазаретного котла?

— Заблудился в темноте, господин Корнеич, — связки выдали сухой, ровный тон, лишенный просительных модуляций. — К ручью выходил.

Старик выпустил струю горького самосада сквозь желтые резцы, постучал мундштуком по косяку:

— Заблудился он. В комендатуре за такую прогулку шкуру с живого спускают шомполами. Да руки сейчас дороже розог: с полудня санитарный поезд на разъезде разгружают, сюда третью волну погонят. Хватай два цинковых ведра, дуй на пороги. Котлы для инструмента кипят, вода на исходе. Натаскаешь двадцать ведер — получишь ломоть каравая и миску пшена. Опоздаешь — выкину за лагерную черту под штыки пехотного заслона. Пошел!

Цинковые емкости врезались проволочными дужками в старые ссадины на ладонях.

Каждая ходка к каменистому речному плесу превращалась в замкнутый цикл механических действий. Спуск по скользкому глинистому откосу: удержание баланса за счет сгибания коленей, перенос веса на пятки, гашение бокового сноса корпуса. Забор ледяной речной воды: погружение обода, наполнение до кромки, подъем массы в двадцать фунтов на каждую руку. Подъем на увал: короткие толчковые шаги, напряжение широчайших мышц спины, распределение тяги по грудным связкам.

На седьмой ходке мышечные волокна в предплечьях одеревенели. Мышцы налились жгучей молочной кислотой, отказываясь сжимать пальцы вокруг тонкой стали. Пришлось завернуть концы рукавов домотканой рубахи вокруг проволоки, зафиксировав кисти жестким узлом ткани.

Лагерь между тем обрастал новыми слоями армейского быта.

Возле мельничного колеса санитары установили длинные козлы, на которых оттирали речным песком и щелоком дощатые щиты носилок. Черная запекшаяся кровь сходила неохотно, въедаясь в сосновые волокна глубокими бурыми разводами. В воздухе стоял густой, липкий чад: смесь кипящей олифы, дегтя, нашатырного спирта и застарелых испражнений. В офицерской палатке под кронами вязов звенели стеклянные трубки полевого автоклава; туда на цыпочках вбегали сестры милосердия в белых накрахмаленных апостольниках с вышитыми черными имперскими орлами на нагрудных платках.

Фоновый напор боли внутри лагерного периметра не стихал.

Из солдатского шатра доносились протяжные стоны, сменявшиеся мелким, свистящим бредом тяжелораненых. Нервная система удерживала этот шум на внешнем контуре восприятия. Проводящие пути детского мозга приспосабливались к постоянному давлению: внутри черепа выстроился демпфирующий слой, отсекавший хаотические импульсы и превращавший их в равномерную механическую вибрацию гребного вала в трюме шхуны.

К исходу четвертого часа ведра встали в ряд у порога моечной.

Корнеич вышел из полутьмы мельницы, держа в руках эмалированную кружку с парящим темным варевом и ломоть серого пеклеванного хлеба, густо посыпанного крупной солью.

— Жри, работник, — старик сунул кружку в мозолистые пальцы мальчика. — Заслужил. Да не дависъ, нутро обожжешь.

Крупная соль хрустнула на зубах, врезаясь в сосочки языка острыми гранями. Зубы с монотонным усилием дробили плотный мякиш: челюстные мышцы сокращались ритмично, превращая ржаную массу в вязкий комок, скользивший по пищеводу в сведенный спазмом желудок. Обжигающий взвар сушеной малины и сосновой хвои обрушился внутрь смолистым жаром. Терпкая горечь обожгла нёбо; мелкая дрожь в четырехглавых мышцах бедер начала спадать, сменяясь тупым свинцовым наливом в суставах.

Фельдшер стоял у дверного косяка, прищурив слезящийся от махорочного чада глаз.

— Не зря тебя при лазарете оставил, — старик сунул кисет из грубой овчины обратно под засаленную безрукавку. — Другой барчук на твоем месте в грязи бы вывалялся, сопли распустил. А ты скрипишь, словно кованый ворот, а тянешь. Только вот что, Андрюха: во вторую палатку ступай. К «тяжелым». Там стрелок из-под Холма лежит, грудина навылет чугунным осколком распорота, плевра хлюпает. Доктор Раух перевязал наглухо, да толку чуть — не жилец парень. Мечется, орет дурным голосом, остальным покою не дает. Возьми деревянный ковш, смочи ему губы водой. Посиди рядом, последи, чтоб повязку с груди не сдернул, покуда агония не накроет. Все едино до утра не дотянет, а сестрам к легким бежать надо — там нарывных полсотни скопилось.

Пальцы Корнеича привычным движением оправили кожаный фартук, покрытый высохшими слоями бурого экссудата.

Тяжелый брезентовый полог второй палатки встретил плечо жестким сопротивлением просмоленной ткани.

Внутри царил густой, липкий сумрак. Редкие золотистые полосы вечернего солнца, пробивавшиеся сквозь щели шатра, чертили в воздухе пыльные диагонали, но этот свет не приносил тепла — он лишь обнажал взвесь из испарений пота, гнилостного смрада сепсиса, аммиачной едкости мочи и сладковатого, приторного духа распадающейся легочной ткани. Воздух плотной массой оседал в гортани, заставляя рефлекторно сжиматься голосовые связки.

На полу спрессованная солома впитывала влагу тринадцати тел, разложенных в два неровных ряда.

Взгляд сразу наткнулся на дальний лежак у центральной опорной стойки.

Пехотинец в изодранной холщовой рубахе бился на тюфяке, загребая пятками прелые стебли. На его правой половине груди вздымался ком серой марли, набрякший желтой сукровицей и пузырящейся пеной. Каждый вдох бойца вырывался влажным, свистящим хлюпом — разорванное легкое засасывало воздух через плевральный свищ мимо трахеи. Полуоткрытые веки обнажали белки, заплывшие сеткой разорванных капилляров. Сухие, растрескавшиеся до крови губы непрерывно дергались:

— Матушка… отпусти… давит… грудь колесом ломает… матушка…

Соседние раненые застыли на своих тюфяках, отвернув серые лица к натянутой парусине. Вой стрелка входил в их открытые раны звуковым тараном, заставляя каждого невольно подтягивать колени к животу. Пространство шатра вибрировало единым, мучительным резонансом.

Первый шаг вперед отозвался в черепной коробке тупым гидродинамическим ударом.

Сенсорное излучение умирающего не имело ничего общего с общим монотонным гулом лагеря. Это был сфокусированный шквал высокочастотных разрядов, рожденных в разорванных межреберных нервах и сдавленных магистральных сосудах. Возбужденные нейроны выстреливали колоссальный потенциал действия во внешнюю среду, превращая воздух вокруг лежака в насыщенную электричеством зону.

Дно деревянного ковша мягко коснулось утоптанной земли у тюфяка.

Опустившись на колени, Андрей перехватил липовую ложку, зачерпнул мутноватую речную воду и поднес край дерева к запекшейся корке на губах пехотинца. Влага скатилась по сальной щетине подбородка; зубы раненого лязгнули о край древесины, наглухо перекрывая доступ в ротовую полость.

В следующее мгновение огрубевшая кисть бойца метнулась вверх.

Черные, обломанные ногти и вздутые жилы впились в тонкое запястье мальчика, замкнув мертвую хватку.

Контакт обнаженной кожи с кожей замкнул биологическую цепь.

Демпфер детского мозга разнесло в пыль. В нервные стволы правой руки хлынул раскаленный свинец чужой агонии. Не визуальный образ, не слуховое эхо — чистая соматическая передача травматического шока обрушилась на спинной мозг. Собственную правую сторону груди Андрея пробило фантомным чугунным осколком: межреберные мышцы скрутило судорогой, плевральный мешок сдавило тисками, а диафрагма парализованно застыла в нижнем положении.

Легкие выбросили остатки воздуха со сдавленным хрипом. Зубы стиснулись до треска в височно-нижнечелюстных суставах; крупные капли холодного пота мгновенно выступили на переносице и висках.

Инстинкт самосохранения требовал рвануть руку назад, выломать пальцы, разорвать смертоносную дугу, упасть спиной на солому.

Вместо паники включился холодный расчет судового шкипера, берущего на себя удар штормового вала. Мозг препарировал обрушившуюся лавину боли на базовые физические параметры.

Анатомического разрушения собственных органов не происходило. Ребра оставались целыми, легочная паренхима удерживала кислород, миокард исправно качал кровь по дуге аорты. Вся эта боль была лишь паразитным электрическим потенциалом, замкнутым в петлях агонизирующей нервной системы умирающего солдата.

Шунтирующий контур. Заземление с нулевым сопротивлением.

Волевой импульс принудительно раскрыл проводящие тракты спинного мозга. Мышечные зажимы в правом плечевом поясе расслабились, превращая предплечье, плечо и шею в проводящую магистраль. Чужой биоэлектрический шторм беспрепятственно потек сквозь лучевую кость, плечевое сплетение и разлился по собственному телу мальчика, рассеиваясь в тканях.

Наступил резкий фазовый перелом.

Хриплый скулеж пехотинца оборвался на полутоне.

Железная хватка пальцев, сжимавших детское запястье, медленно ослабла. Натянутые, будто ванты в бурю, шейные жилы солдата обмякли и плавно погрузились в серую солому. Дыхание бойца — до этого частое, поверхностное, булькающее гноем — выровнялось, перейдя в глубокий, мерный ритм. Кровавая пена на краях пробитой повязки перестала пузыриться; воспаленные веки опустились, спрятав налитые кровью белки.

Черты лица умирающего расправились. Смертная маска отступила, оставив после себя неподвижное, отрешенное спокойствие.

Ценой этой внезапно наступившей тишины стала глухая, выворачивающая суставы соматическая перегрузка, заполнившая все тело Андрея свинцовой тяжестью.

Мелкая, непрерывная дрожь сотрясала реберный каркас. Грудные мышцы стянуло жестким, каменистым спазмом; отраженная вспышка в правом подреберье жгла живым огнем, отдаваясь тупыми, ритмичными толчками в затылочную кость. Из правой ноздри на серый холст штанов сорвалась тяжелая, почти черная капля крови, мгновенно впитавшись в грубые растительные волокна. Пульсовая волна колотила в сонные артерии с частотой в сто сорок ударов, проталкивая кровь сквозь сузившиеся капилляры конечностей. Физического разрушения тканей детского тела не происходило: нервная система поглощала избыточный биоэлектрический разряд, преобразуя чужой шок в мышечный тремор и резкий температурный выброс.

Пальцы разжались сами собой, разрывая контакт.

Ослабевшая рука соскользнула на сырую, прелую солому.

Тотчас дыхательный ритм раненого надломился. Спустя три секунды веки бойца судорожно дернулись, челюсти сжались до скрежета, а из разорванной трахеи вновь вырвался булькающий, сиплый хрип:

— Горю… ребра ломает… нутро…

Ладонь Андрея снова опустилась на раскаленное, покрытое липкой испариной предплечье пехотинца.

Биологическая цепь замкнулась вторично.

Импульс чужой агонии мгновенно ударил по проводящим путям, отозвавшись под ложечкой тошнотворным, режущим спазмом гладкой мускулатуры желудка. Стон на лежаке оборвался на полувдохе. Судорога в шее раненого отпустила связки, раздутая грудная клетка плавно опала, а тяжелый прерывистый свист сменился тихим, размеренным движением воздуха.

Это был чистый эксперимент. Строгий, воспроизводимый физиологический опыт в полевых условиях.

Опираясь коленями в сырую землю палаточного прохода, Андрей методично регистрировал параметры процесса через призму профессиональной анатомической памяти.

Передача чужого болевого сигнала требовала прямого контакта «эпидермис к эпидермису». Воздушный зазор даже в доли миллиметра ослаблял проводимость до нуля, но непосредственное соприкосновение кожи мгновенно затягивало контур, шунтируя биоэлектрическую дугу на ткани реципиента. Интенсивность забора боли подчинялась волевой фокусировке: искусственное сужение проводящего «сечения» немедленно возвращало солдата к агональному метанию; полное раскрытие барьера погружало раненого в глубокий охранительный наркоз.

Ограничителем выступала емкость воспринимающего организма.

Пропуск чужой агонии сквозь периферическую нервную систему одиннадцатилетнего мальчика давал предсказуемые сбои: скачок артериального давления, тахикардию, судорожные контрактуры диафрагмы и разрывы капилляров в носоглотке. Взрослый разум удерживал вегетативные центры от панического коллапса, не позволяя шоку свалить сознание в обморок, однако износ детских сосудов нарастал пропорционально минутам контакта.

Четверть часа непрерывного шунтирования перевели дыхание пехотинца в глубокий, целительный сон. Пульс на сонной артерии, дотоле нитевидный и сбивающийся, выровнялся на семидесяти ударах. Избавленный от сокрушительного болевого удара организм раненого перенаправил кислород и кровь на поддержание базового метаболизма.

Ладонь медленно оторвалась от горячей кожи.

Крика не последовало. Дыхание бойца оставалось глубоким, без хрипов; лишь под тонкими веками изредка подрагивали зрачки под действием затухающих остаточных импульсов.

— Эй… малец… — донесся с соседнего тюфяка надтреснутый, сухой шепот.

На соломенной подстилке силился приподняться пожилой ополченец с всклокоченной седой бородой. Левое бедро старика стягивали неструганые сосновые лубки, сквозь щели которых сочилась бурая гнилостная сукровица, разнося вокруг тяжелый запах раздробленной, отмирающей кости. Запавшие в темные глазницы зрачки ополченца впились в Андрея с отчаянной мольбой.

— Воды… Христа ради… Жжет кость… Железом каленым вертят, нутро выламывают…

Жестяной ковш в руках мальчика глухо звякнул о край деревянной бадьи.

Подъем с колен отозвался свинцовой тяжестью в поясничном отделе. Мышцы ног подергивались от остаточного спазма, кости таза ныли от чужого отраженного напряжения, требуя физического отдыха.

Медленный шаг к соседнему лежаку дался с трудом.

Опустившись на колени возле ополченца, Андрей протянул край ковша к запекшимся губам старика и одновременно положил пальцы левой руки на его обнаженное, иссохшее запястье.

Удар был иного рода, чем при ранении в плевру. В нервную систему хлынула густая, сверлящая, остеогенная боль. Кости собственного левого бедра словно зажало в кузнечные тиски; зубы Андрея сжались до звона в височных костях, поле зрения сузилось до темного туннеля, на дне которого осталась лишь грубая сосновая щепка, торчащая из лубка старика. Тошнота подкатила к горлу, заставив задержать дыхание и принудительно, пучок за пучком, расслаблять шейные мышцы, гася чужую деструктивную волну внутри собственной нервной сети.

Ополченец резко замер. Челюсть старика перестала мелко трястись, судорожный захват на жестяном ободе ковша ослаб. Глаза раненого, расширенные от непонимания, уставились на собственную перебинтованную ногу, затем медленно поднялись к лицу мальчика.

— Опустило… — едва слышно просипел старик, и по его морщинистой, серой от пыли щеке покатилась крупная слеза, смывая грязь. — Батюшки… отпустило ведь…

Соседние лежаки зашевелились. В полумраке душной палатки десятки воспаленных, мутных от страданий глаз обратились в сторону Андрея.

Живой наркоз

Холодный речной пар висел над мельничным затоном вязким, непроницаемым полотном. Серая сырость просачивалась сквозь щели в замшелых бревенчатых венцах, оседая на просмоленной парусине шатров липкой водяной пленкой. В воздухе стоял тяжелый, въедливый чад: смесь карболки, горелого нутряного сала, прелой ржаной соломы и застарелого сладковато-кислого трупного духа, не выдуваемого из лагерной низины даже верховым ветром.

На перевернутом патронном ящике темнел расколотый дубовый футляр. Три ампулы с эфиром раздавило еще на ночном волоке через гать; бурая маслянистая лужица на растрескавшихся досках давно высохла, оставив в сыром полумраке лишь тошнотворный, кружащий голову след. Тонкие стеклянные трубочки в жестяной коробке перебирала сестра милосердия Варвара — сухопарая, костистая женщина в потемневшем от въевшегося пота апостольнике с суконным красным крестом на нагруднике. Нитяные перчатки со срезанными пальцами выстукивали по жести мелкую сухую дробь.

— Четыре патрона с новокаином на весь транспорт осталось, господин доктор, — голос женщины звучал глухо, монотонно, без единой слезной ноты. — Хлорэтил вышел еще под Демянском. Морфина в офицерской укладке две ампулы, но фельдфебель из комендантской роты велел беречь для чинов с золотыми просветами.

В глубине мельничного сруба глухо лязгнуло железо. Мутный щелочной раствор в цинковом тазу пошел волной от погруженных по локоть рук. Вода переплеснула через борт, размывая на предплечьях хирурга заскорузлую бурую корку засохшей крови. Кожа на пальцах Рауха выбелилась и сморщилась от непрерывного контакта с фенолом; ногтевые пластины треснули и обломались до багрового подногтевого мяса. Под тяжелым клеенчатым фартуком, задубевшим от чужого экссудата, тяжело ходили сутулые лопатки. Темный защитный китель с потускневшими пуговицами и зелеными суконными петлицами коллежского асессора обвисал мешком на выступающих ребрах.

— Значит, пилить наживую, — бросил доктор в спину сестре, не поворачивая головы. Голос сорвался на сухой, лающий кашель от осевшей в бронхах махорочной гари. — Троих вязать ремнями к станку, в зубы сосновый брусок. Кто с разрывом сердца от болевого шока свалится — того сразу в ров за мельницу. Сортировку не задерживать.

У приоткрытого брезентового полога стоял старший фельдшер Корнеич. Сухие узловатые пальцы старика неторопливо трамбовали в глиняную трубку щепоть горького самосада. Глаза под кустистыми, поседевшими от изморози бровями следили за прислужником, скребшим песком закопченное днище походного котла. Руки подростка двигались размеренно, без лишнего замаха. Ржавчина и пригорелая пшенная корка сдирались под нажимом крупнозернистого кварца, обнажая серый, матовый чугун. Мускулы узких плеч работали с геометрической выверенностью: нажим, короткий круговой сдвиг, сброс отработанной мокрой жижи в сточную канаву.

В ночном шатре для безнадежных держалась плотная, неестественная для полевого лазарета тишина. Стрелок со сквозной пробоиной в плевре спал на прелом сене, ровно раздувая тонкие, иссушенные крылья носа. Ополченец с раздробленным тазом, оравший до полуночи дурным, звериным воем, лежал неподвижно; желтая сукровица на лубках застыла густым студ-

нем, дыхание шло глубокими, ровными толчками. Смертная мука, раскачивавшая шатер до рассвета, ушла в сырую землю, оставив в воздухе лишь густой запах лежалого пота и остывающего жара.

Трубка переместилась в угол рта; темный сгусток слюны ударил в ступицу тележного колеса. Шагнув через порог мельницы, фельдшер остановился у плеча хирурга:

— Господин доктор. Мальчонка этот, приблудный… Андрейка. Рука у него странная. Всю ночь во второй палатке у тяжелых просидел, ковш с водой держал. Замолчали ведь. Все до первых петухов дотянули, пульс держит стенку, агония отступила.

Застиранное вафельное полотно с едким запахом хлорной извести скрипнуло о вымытые пальцы врача. Водянистый серый взгляд хирурга скользнул по спине подростка, отмерил острые выступы лопаток и налипшую на оборванные порты речную грязь.

— Бредни, Корнеев. Бабьи сказки от хронической бессонницы. Обычный нервный паралич на фоне общего истощения тканей, оттого и затихли. Готовь доски. С передовой везут унтера, минно-взрывная голени. Гангренозный вал поднимается к колену. Без высокой ампутации до полудня сгниет заживо.

Окованные железом колеса санитарной двуколки с глухим ударом врезались в наружный настил мельницы. Петли распахнутой настежь двери взвизгнули под напором двух дюжих санитаров, втащивших в полумрак парусиновые носилки. Застоявшийся воздух палаты рассек концентрированный дух гниющей плоти.

На мокрой парусине бился широкоплечий унтер-офицер с фельдфебельскими нашивками на изодранных погонах. Левая штанина была распорота до паховой складки: голень вздулась сине-багровым студенистым валом, покрытым пузырями с мутной серозной жижей. Из рваной раны над щиколоткой торчал зазубренный осколок чугунного корпуса мины, вокруг которого пузырился дурно пахнущий сероводородный газ. Кожа на лице раненого натянулась на скулах желтым пергаментом, обнажив стиснутые до крошки зубы. Зрачки метались в темных глазных впадинах, а из сдавленной спазмом гортани рвался свистящий, булькающий клекот:

— Рубите… братцы… отнимите ногу… в огне горю… железо каленое внутри крутит…

Судорожный толчок выгнул тело унтера дугой, едва не сорвав брезентовые ремни. Носилки заходили ходуном, грозя сбросить груз на глиняный пол.

— На стол! Немедленно! — рявкнул Раух, натягивая на запястья грубые парусиновые нарукавники. — Прижать за плечи! Корнеич, ремни на грудину и здоровое бедро! Сестра, жгут Эсмарха в пах, перекрыть артерию!

Санитары с глухим рыком перевалили массивное тело на неструганые плахи операционного щита. Доски натужно затрещали под весом солдата; в широкую щель между ними хлынула черная, свернувшаяся кровь, тяжело забарабанив по дну цинковой бадьи.

— Эфира нет, господин доктор! — сорвалась на крик Варвара, всем телом наваливаясь на здоровую ногу раненого. — Сердце встанет! Первый же разрез надкостницы убьет шоком!

Челюсти Рауха сжались до белизны височных желваков. Рука метнулась к остекленному шкафчику, но на полочке белели лишь круглые пустые гнезда.

— Корнеев! Неси сосновый клин! — скомандовал хирург, сжимая в пальцах дугообразный ампутационный нож с широким матовым лезвием. — Голову фиксировать!

Вместо ящика с клиньями старый фельдшер шагнул к дверному проему. Железная хватка пальцев сомкнулась на плече Андрея, втягивая подростка в густой, парящий полумрак сруба.

— Не брусок надо, господин доктор, — старик с силой прижал мальчика к изголовью операционного стола. — Пусть парень за руку возьмет. Помрет унтер под железом — значит, судьба, без наркоза ему все едино конец. А если удержит — вытянем.

Взгляд хирурга стегнул по лицу Андрея колючим холодом. В этих запавших глазах не осталось места вере — лишь глухая, ожесточенная ярость ремесленника, вынужденного работать тупым резцом.

— Вставай на чурку, щенок, — процедил Раух сквозь зубы, проверяя остроту фаски о ноготь большого пальца. — Держи левую ладонь. Дернется под ножом при вскрытии надкостницы — я тебя этим клинком вдоль хребта оглажу. Понял?

Под подошвами скрипнула шаткая березовая плаха, поставленная торцом для компенсации низкого роста. Округлая поверхность полена качнулась под тяжестью тела, потребовав мгновенной корректировки центра тяжести через сгиб в коленях. В дыхательные пути хлынул концентрированный состав операционной: запах распадающегося мышечного белка, скипидарная резь дезинфекции, металлический привкус свежей венозной крови и удушливый, липкий смрад первобытного страха.

Пальцы левой руки сомкнулись на пульсирующем запястье унтера.

Прямой контакт обнаженной кожи замкнул биоэлектрическую цепь без малейшего сопротивления среды.

В нервные стволы детского предплечья ударил высоковольтный разряд чудовищной мощности. В организме взрослого пехотинца бушевал электрический смерч: миллионы разорванных рецепторов развороченной ноги генерировали непрерывную лавину потенциалов действия, вбивая в кору головного мозга слепящие импульсы. Левое предплечье Андрея сковало каменистой судорогой; в плечевой сустав вошел раскаленный стальной клин, а диафрагма спазматически сжалась, наглухо перекрыв приток воздуха в трахею.

Черепную коробку заполнил низкий, вибрирующий гул трансформатора. Пространство мельницы потеряло резкость, расплывшись в грязно-бурое месиво теней. Единственной точкой опоры в сузившемся поле зрения осталась литая латунная пуговица на воротнике унтерского мундира — выпуклый двуглавый орел, левое крыло которого рассекала глубокая зазубрина от осколочного среза. Внимание намертво привязалось к этому металлическому дефекту. Сознание прежней жизни активировало аварийный распределительный щит, принудительно

сбрасывая запредельное напряжение по вспомогательным нервным магистралям детского тела, заземляя чужую агонию в собственный мышечный каркас.

Шунтирующий контур — на полную проводимость. Снять мышечные спазмы шейного отдела. Сброс избыточного давления через периферический тремор.

Пальцы правой руки сомкнулись на широкой, мозолистой ладони унтера, замыкая загрубевшую кожу в костяной замок. Шероховатые складки чужой ладони пахли махоркой, оружейным нагаром и застарелым потом окопной суконки.

Связки гортани натянулись тугой струной, выдавая ровный, утробный, глуховатый гул. Горло вибрировало с механической мерностью шатуна паровой машины. Слова текли сплошным потоком без пауз, подчиняясь строгому такту вдоха и выдоха, пряча колоссальное внутреннее напряжение под монотонной скороговоркой:

— По тихой воде баржа идет, кованый нос волну режет… Песок на перекате желтый, сухой, солнце в соснах звенит… Вода под днищем холодная, в глубину тянет, тину колышет… Колеса крутятся, пар в трубе свистит, ступицы на дегте мягко ходят… Спи, служивый, река широкая, берег высокий, до заката далеко…

Унтер-офицер внезапно затих.

Тяжелая голова с жесткой бурой щетиной бессильно завалилась на просмоленную холстину подголовника. Челюсти, секунду назад готовые расколоть деревянную распорку, плавно расцепились. На вывалившемся кончике языка проступил плотный желтоватый налет. Надутые до синевы шейные жилы опали, спрятавшись в дряблых складках кожи. Хриплый, лающий кашель сменился глубоким, равномерным сопением спящего тела.

Марлевый тампон с глухим шлепком выпал из оцепеневших пальцев сестры милосердия прямо на окровавленные доски. Варвара застыла у изголовья с приоткрытым ртом, боясь шевельнуться.

Занесенный над операционным полем ампутационный нож замер в воздухе. Зрачки Рауха расширились, уставившись на абсолютно расслабленный, мягко вздымающийся живот раненого — вернейшее свидетельство глубочайшего усыпления, какое в полевых условиях давал разве что добрый полуфунт чистого хлороформа.

— Держи жгут, дура! — хриплым, сорванным шепотом бросил хирург, стряхивая оцепенение резким рывком плеча.

Дугообразное лезвие с сухим скрипом погрузилось в плоть бедра на четыре дюйма выше коленного сочленения.

Остро наточенная крупповская сталь рассекла эпидермис, рыхлую желтизну жировой клетчатки и плотную фасцию единым, выверенным круговым движением. Из перерезанных мышечных волокон толчками плеснула густая венозная кровь. Темные струи залили резиновые нарукавники доктора и густыми каплями забарабанили по жестяному желобу операционного стола, стекая в эмалированный таз.

На просмоленном брезенте не дрогнул ни один мускул.

Веки унтера оставались плотно сомкнутыми. На разгладившемся лице не возникло даже тени гримасы. Глазные яблоки под тонкой кожей век совершали медленные, ритмичные круговые движения, характерные для глубокого сновидения.

Всю ярость хирургического рассечения принял на себя маленький прислужник у изголовья.

В момент соприкосновения стали с живой надкостницей в затылочную кость Андрея ударил чудовищный гидродинамический таран. Сосуды сетчатки вспыхнули алой пульсацией. Из правой ноздри на холст рубахи упала тяжелая, горячая капля крови. Диафрагма судорожно сжалась, пытаясь вытолкнуть наружу пустоту желудка, но жесткий внутренний приказ пресек спазм, принудительно расправляя гладкую мускулатуру пищевода. Кожу под одеждой окатило крутым кипятком, тотчас сменившимся липкой ледяной испариной.

— Река глубокая, на дне галька круглая… — механически выталкивали воздух голосовые связки, удерживая частоту мягкого баритонального убаюкивания. — Ивняк над водой клонится, весла в уключинах скрипят сухо, мерно… Спи, дядька, берег близко…

Раух работал с яростной, вымуштрованной годами точностью.

Бросив нож на край стола, хирург подхватил двухзубые латунные крючки и развел в стороны рассеченные пласты мышц. Пальцы в тонкой резине безошибочно нащупали пульсирующий ствол бедренной артерии. Изогнутая игла с лигатурой из крученого шелка молниеносно прошила сосудистое влагалище, стянув артерию тугим морским узлом. Алый фонтан иссяк, сменившись скупым просачиванием капиллярной сукровицы.

— Костную пилу! — отрывисто скомандовал доктор, не поднимая головы.

Корнеич без промедления вложил в мокрую перчатку хирурга массивную дуговую пилу с хищными, треугольными зубьями.

Широкое стальное полотно легло на обнаженную, тускло-белую надкостницу бедренной кости.

Первый же ход инструмента огласил палатку пронзительным, скрежещущим визгом. Закаленная сталь вгрызлась в кортикальный слой, выбрасывая фонтанчики белесой костной стружки, моментально темневшей от сукровицы.

Нервная система Андрея приняла этот скрежет прямым механическим разрушением собственного скелета.

Каждый возвратно-поступательный ход пилы отзывался в левом тазобедренном суставе мальчика яростным трением зажатого в слесарные тиски напильника. Челюсти стиснулись до хруста в височных пазухах; десны наполнились соленым вкусом лопнувших капилляров. Ноги в коленях забила мелкая дрожь, но пальцы на запястье солдата держали мертвую хватку, не допуская обрыва проводящей цепи даже на долю миллиметра.

Воздух в груди обратился в раскаленный шлак. Окружающее пространство схлопнулось до царапины на латунной пуговице. Зеленая мясная муха с металлическим блеском на брюшке опустилась на темное пятно крови у самого плеча раненого и неторопливо расправила прозрачные крылья. Взгляд прикипел к крошечным движениям ее суставчатых лапок, отыскивая в этой бессмысленной точке спасительный якорь против накатывающего безумия боли.

С глухим стуком отпиленный фрагмент конечности вместе с развороченной взрывом голенью рухнул в оцинкованное ведро.

— Готово, — хрипло выдохнул Раух, утирая плечом струящийся со лба пот, смывавший копоть на щеках. — Зачистить опил кости рашпилем. Сестра, кетгут на мышцы!

Пальцы врача быстро формировали кожно-мышечный лоскут, прикрывая оголенный торец кости. Крупная игла с треском пробивала плотную фасцию, стягивая края раны толстыми швами.

Унтер-офицер на столе глубоко вздохнул, перекатил стриженый затылок на правый бок и неразборчиво пробормотал сквозь сонный туман:

— Вода-то… прохладная в затоне… матушка…

Ни единого стона не сорвалось с потрескавшихся губ. Ни единая судорога не исказила торс. Нитевидный пульс оставался ровным, наполненным, сберегая силы измученного тела для заживления.

Закрепив последний марлевый тур английской булавкой, Раух тяжело опустил руки в таз с мутным раствором сулемы.

Инструменты со звоном упали на медный поднос.

Сняв окровавленные нарукавники, хирург бросил их на край стола и медленно повернулся к Андрею. Взгляд доктора был тяжелым, пронизывающим, полным растерянности и профессионального шока. Опыт десятков лет земской и фронтовой практики рушился перед лицом одиннадцатилетнего оборванца, державшего за руку взрослого мужика.

— Кто тебя этому учил? — глухо, почти беззвучно выдавил врач. — Где видел такое? В монастырях у старцев?

Пересохший ком в горле поддался лишь со второй попытки:

— Дед сказывал… на баржах… Шептать наговор, чтоб кровь не бежала и жила не горела. От контузии многое выветрилось из головы, господин доктор. Только в пальцах осталось.

Взгляд Рауха скользнул по застывшему лицу мальчика, задержался на побелевших детских пальцах и переместился к конторке. Корнеич стоял у деревянного снарядного ящика, приспособленного под писарский стол, и мерно посасывал закопченную трубку. В прищуре блеклых старческих глаз застыло сухое, расчетливое торжество.

— Значит, дед, — глухо уронил доктор, вытирая покрытый испариной лоб серым суконным рукавом. По подолу кителя расплывалось свежее бурое пятно. — Какое бы колдовство в этих сказках ни крылось, мужик на столе не отдал концы от болевого шока. Без единой капли хлороформа. В губернской клинике за подобную анестезию золотом осыпали бы до макушки, да только на передовой не до ученых трактатов. Корнеев!

— Туточки, ваше благородие, — глухо отозвался фельдшер, выпустив тонкую струйку вонючего самосада.

— Вноси мальчишку в штат полевого подвижного транспорта. Прислужником первого разряда при операционной палатке. Выдать из вещевого запаса юфтевые сапоги самого малого размера, холщовую пару и поставить на двойной солдатский котел с сахаром и чаем.

Тяжелая поступь старых кованых подошв отдалась глухим стуком по настилу. Корнеич подошел к конторке, сдвинул в сторону стеклянную чернильницу-непроливайку и откинул жесткую крышку штабной книги. Плотный коленкоровый переплет с тисненым орлом военного ведомства скрипнул потрескавшимся корешком.

Кончик химического карандаша коснулся старческого языка, окрасив слюну в едкий чернильный цвет.

— В какую графу фамилию вписывать прикажете, господин коллежский асессор? — проскрипел фельдшер, занеся грифель над расчерченным разворотом. — Метрической выписи нет, податное состояние неизвестно, а прежнее прозвание шальным фугасом из башки начисто выбило. Не заносить же сироту в формулярный список дивизии под кличкой «Найденыш»?

Раух задержал дыхание, разглядывая растерзанное бедро на операционном столе, а затем перевел взгляд на руки подростка. На тонких запястьях запеклась чужая кровь, стянув кожу шелушащейся темной коркой.

— Записывай по сути дела, Корнеев. Имя — Андрей. Фамилию пиши — Лекарь. До востребования бумаг из духовной консистории. Так по всем приказам санитарного поезда и проводить.

Фиолетовый грифель с сухим треском врезался в шероховатую казенную бумагу. На развороте легли угловатые, вдавленные в волокна строчки: *«Андрей Лекарь, прислужник без чина, зачислен на котловое и вещевое довольствие при 10-м полевом подвижном транспорте с 18 июля 1941 года»*.

Переплет захлопнулся с глухим, рубящим звуком.

Прежнее городское имя, обрывки беженской дороги и следы мещанского быта погребла под собой толстая казенная корка. В жерновах военной машины возникла новая служебная единица — полезная, лишенная прав и прикованная к жестяному покрытию операционного стола.

Расплата за место у котла грянула без единой секунды передышки.

Ступни еще не успели сойти с березовой чурки, как тяжелый брезентовый полог с треском распахнулся от удара сапога. В духоту палатки ворвался душный запах нагретой солнцем полыни и конского пота. Двое санитаров ввалились внутрь, волоча прогнувшиеся носилки. На окровавленном холсте метался пехотинец с вырванной ключицей; рваные края раны обнажали обломок кости, а из разорванной подключичной вены толчками хлестала темная, почти черная венозная кровь.

— Живо на стол! — рявкнул Раух, отбрасывая в таз согнутый шовный крючок и хватая со столика длинный зажим. — Лекарь, к изголовью! Замыкай проводники, держи жилу!

Босые пальцы вновь оперлись о шершавую березовую кору подставки.

Ладони легли на липкую от холодного пота шею раненого. Нервный контур захлопнулся, обрушив в сознание чудовищный соматический удар. В височные доли вонзились тысячи раскаленных игл; чужой парализующий ужас перед разверстой раной передался по фасциальным цепям, сдавив спазмом собственную диафрагму. Стенки сонных артерий заколотились в бешеном ритме, проталкивая кровь к глазному дну, но голосовые связки по привычке выстроили монотонный ритмический барьер:

— Лес густой, ельник темный, тропа во мху стелется… Спи, служивый, железо мимо прошло, живая вода в рану течет…

Слова текли ровной, утробной вибрацией, перехватывая болевые импульсы на уровне шейного сплетения и блокируя передачу сигналов в продолговатый мозг. Мышцы раненого обмякли, дыхание выровнялось, превратившись в тяжелый, размеренный храп.

День раскололся на череду механических движений и запахов: едкий пар карболки, вонь горелой кости под зубьями пилы, жестяной лязг корнцангов и горячий чад вспоротой плоти.

Время сжалось в бесконечный конвейер. Между носилками оставалось лишь несколько десятков секунд, чтобы погрузить одеревеневшие кисти в цинковое ведро с ледяной колодезной водой и второпях сжевать кусок черствого серого сухаря. Чернослив овая мякоть хлеба застревала в пересохшей глотке, не оставляя вкуса — слюнные железы отказывались работать от непрерывного адреналинового пресса.

Каждое новое рассечение надкостницы, каждая ревизия развороченной брюшины и слепое извлечение свинцовых осколков из суставных сумок требовали предельного раскрытия нервных проводников. К полудню правую щеку свело неподвижной судорогой; лопнувшие в склерах сосуды залили глазные яблоки сплошной багровой сеткой. Равновесие на краю чурбака держалось исключительно за счет мышечного напряжения и сухого расчета взрослой воли, ежесекундно выравнивавшей частоту сердечных сокращений и глубину вдохов.

Сестры милосердия и санитары больше не окрикивали мальчишку и не толкали в плечо.

Сословные правила

Жесткая юфть казенных сапог впивалась в неокрепшие лодыжки при каждом переносе веса. Кожа наименьшего армейского размера, задубевшая на интендантских складах от касторовой смазки и складской сырости, отказывалась гнуться в подъеме. Внутренний шов на правом заднике методично стесывал зажившую корку на пятке; шаг по скользким глинистым мосткам мельницы отдавался глухим ударом прямо в надкостницу голени. Грубый холст казенных штанов наждаком скреб воспаленную кожу паха, шурша сухой растительной дранью при каждом шаге.

Сырой утренний воздух над речным закрутом густел серым студнем. Холодный туман с запахом гнилой ольхи, мокрой золы и дегтя тяжело оседал на дно оврага, смешиваясь с едкой вонью прелого конского помеха и пережженного в полевой кухне ячменного пойла.

У восточного края лагеря, под разлапистыми кронами вековых вязов, высилась офицерская палатка.

Двойной непромокаемый брезент шатра туго обтягивал шведские сборные шесты из полированного ясеня. По периметру темнели аккуратно срезанные водоотводные канавки, выложенные колотым речным кремнем. Сквозь распахнутый полог виднелись никелированные пружинные койки, укрытые плотными шерстяными одеялами с вышитыми золотистыми вензелями Императорского Общества Красного Креста, фанерованные столики для медикаментов и жестяные рукомойники с полированными латунными кранами. Внутри несла дежурство персональная сестра милосердия в накрахмаленном, ослепительно белом чепце; в ее раскрытом кожаном саквояже тускло поблескивали стеклянные флаконы с немецким дионином, камфорным маслом и чистым ректификатом.

Напротив, на чавкающей глинистой плеши у самого мельничного колеса, коптили два общих солдатских шатра.

В этих полотняных мешках, насквозь пропитанных удушливыми испарениями перегноя, сукровицы и прелой соломы, раненые лежали вповалку на полуистлевших тюфяках, набитых колючей прошлогодней кострикой. Под подошвами хлюпала жидкая каша из глины, опилок и угольной гари. Дощатый настил под ногами ходил ходуном, выдавливая сквозь щели черную зловонную жижу. На всю массу изувеченного человеческого мяса приходился единственный оцинкованный таз с мутным бурым раствором карболовой кислоты, деревянный ковш на ржавой цепи да пучки смолистой лучины для вечерней перевязки.

Окованные железом дужки ведер с колодезной водой вытягивали плечевые суставы из суставных сумок, заставляя грудные мышцы мелко дрожать от запредельной статической нагрузки. Пальцы одеревенели, превратившись в негнущиеся костяные крючья.

Возле конторки на рассохшейся бочке из-под соленой сельди сидел старший фельдшер Корнеич. Химический карандаш со скрипом царапал плотный лист раздаточной ведомости, оставляя фиолетовые борозды. Очки в проволочной медной оправе сползли на пористый сизый нос; седые щетинистые усы мерно подергивались в такт жеванию табачной жвачки.

— Цинк с сулемой на офицерский помост не волоки, пащенок, — прохрипел старик, не поднимая воспаленных век от казенных граф. — Для господ офицеров из потомственного дворянства отдельная укладка положена. Там мыло кокосовое, бинты беленые, английские, в вощеной бумаге. А для общей массы вон то корыто со щелоком скобли добела. Шпагат на перевязки дергай из пеньковых канатов, мельче трепли. Усвоил субординацию?

— Приказ ясен, господин старший фельдшер.

Слова сорвались с губ ровным, глухим звуком, выверенным до доли секунды. Внутренний глазомер флотского шкипера зафиксировал непреодолимую правовую и сословную дистанцию. Государственная машина исключала равенство даже перед лицом газовой гангрены и септического шока. Потомственная знать уходила на поправку в санитарных поездах великих княгинь и стерильных палатах Дворянского союза, где паркет натирали пчелиным воском, а ассистенты столичных профессоров меняли марлевые салфетки каждые три часа. В полковой лазарет тридцать третьей пехотной дивизии аристократ попадал исключительно по слепой оплошности санитарного разъезда, и на этот единичный случай фельдшеры берегли последний флакон морфина, чистые простыни и стерильный шелк.

Тяжелая железная дужка ведра врезалась в ладонь, оставляя на коже глубокую белесую борозду с багровыми краями.

Визгливый скрежет немазаных ступиц на въездной гати разорвал монотонный плеск мельничного колеса. Две обозные телеги, запряженные низкорослыми битюгами с налипшими на боках комьями речной тины, втянулись в лазаретный двор. На передней подводе, свесив ноги в изодранных грязных обмотках, сгорбился пожилой ездовой с черным обмороженным кончиком носа. На соломе за его спиной лежало тело в офицерской защитной гимнастерке.

Сукно френча оказалось дешевым, грубым, фабричной диагоналевой выработки рязанских мануфактур. На погонах темнели простые суконные просветы с единственной штампованной латунной звездочкой — офицерский чин подпоручика, выслуженный из нижних чинов, вольноопределяющихся или полковых писарей. Ни дворянского золотого галуна, ни фамильной эмали на пуговицах не наблюдалось.

Раненый метался на спрессованном мокром сене, судорожно заглатывая впалыми щеками ледяной утренний воздух.

Левая половина грудной клетки и плечевой пояс офицера представляли собой бесформенную кашу из запекшейся крови, клочьев шерсти и дорожной пыли. Рваный осколок чугунной мины размозжил дельтовидную мышцу, сорвал ключичную фасцию и застрял глубоко под реберной дугой. Повязка из грубой неотбеленной бязи промокла насквозь; из-под бурой засохшей корки толчками сочилась темная венозная сукровица, источая тошнотворный, приторный дух разлагающегося мышечного сока.

Нервная система Андрея приняла чужой соматический импульс еще до того, как копыта битюгов замерли у коновязи.

В височные кости мальчика с размаху ударила частая, сверлящая дробь. Высокочастотный биоэлектрический фон раненого транслировал слепой, удушающий ужас человека, чья плевральная полость неотвратимо заполнялась кровью. Собственная диафрагма Андрея ото-

звалась жестким спазмом; трахею сдавило сухим кашлем, а в левом плечевом суставе вспыхнула резкая фантомная резь, выкручивая сухожилия.

Скрипнула кованая дверь мельничного покоя. На порог вышел доктор Раух, на ходу застегивая медные пуговицы форменного сюртука с серебряными докторскими знаками. На сухом, пергаментном лице коллежского асессора застыла маска брезгливой усталости. Водянистые глаза хирурга скользнули по повозке, мгновенно выхватили дешевую ткань офицерского френча, стоптанные солдатские сапоги без шпор и уперлись в подошедшего фельдфебеля обозной роты.

— Чей такой? — сухо бросил Раух, прижимая к носу надушенный платок. — По какому праву доставлен в дивизионный подвижной транспорт, а не в офицерский эвакуационный пункт первой линии в Старой Руссе?

Фельдфебель вытянулся по струнке, вскинув закопченную ладонь к козырьку засаленной фуражки:

— Ваше высокоблагородие! Подпоручик Васютин, триста четырнадцатого Новоторжского пехотного. Произведен из фельдфебелей за штыковую контратаку под Лугой. В дворянский лазарет господин комендант принять отказали — дворянской грамоты не представлено, чин получен по военному манифесту. Приказано сдать в лазарет третьего разряда.

Тонкие бескровные губы Рауха перекосились.

— Очередная выскочка из мещанской гильдии, — процедил хирург, не убирая смоченного ментолом платка. — Нацепят золотую звездочку на мужицкий зипун, а претензий предъявляют на целого тайного советника. Корнеев!

Старший фельдшер подорвался с бочки, уронив химический карандаш в придорожный бурьян.

— Здесь, ваше благородие!

— Сгрузить в общий шатер, на свободную солому возле выхода. Офицерские койки не занимать: к полудню из корпусного штаба ожидается прибытие господина корнета графа Шувалова с пулевым ранением бедра. Перевязочный материал брать третий сорт, пеньковый очес. Рану промыть карболовым раствором один к сорока, наложить тугую давящую повязку. Зондом в глубину не лезть — вскрывать плевру без надежного шовного шелка ради подпоручика из мужиков я не намерен. Загноится — такова его мужицкая судьба.

— Слушаюсь, господин коллежский асессор, — Корнеич склонил голову, пряча бегающий взгляд под кустистыми бровями. — А морфий вводить прикажете? Мечется сердешный, зубами железо грызет, стон на всю гать стоит.

Раух круто развернулся на начищенных каблуках, вскинув острый подбородок:

— Морфин беречь для чинов гвардии и офицеров с родовыми гербами. Выскочке влить ложку настойки валерианы с касторкой. Кость у него крестьянская, толстая, до ночи перетерпит. Выполнять!

Тяжелая дубовая дверь мельницы захлопнулась, бросив в сырой воздух двора глухой стук железного засова.

Корнеич шумно втянул воздух сквозь зубы и сплюнул бурым табачным соком прямо под ноги битюгу.

— Вот тебе и офицерский крест, — прохрипел старик, кивая двум замершим санитарам в заскорузлых фартуках. — Чего застыли, пни березовые? Бери за жерди! Волоките на солому, в угол к покойницким мешкам. Шевелитесь, пока он в телеге дух не испустил.

Деревянные носилки со стуком ударились о борт повозки. Подпоручик глухо взвыл; из потрескавшихся, спекшихся губ вырвался хриплый, свистящий клекот. Мутные от болевого шока зрачки раненого распахнулись во всю ширину глазниц. В них не осталось ни офицерской чести, ни человеческой мысли — лишь слепая мука забиваемого на бойне животного. Изувеченные пальцы офицера в судороге скребли солому, срывая ногти о неструганое дерево бортов.

Шаг к повозке произошел сам собой, минуя внутренние запреты и логику самосохранения.

Дужка пустого ведра со звоном ударилась о мерзлую глину.

Тяжелые казенные сапоги замесили липкую жижу двора. Дистанция сократилась до полуметра. Носоглотку обожгла густая смесь запахов: мокрое прелое сукно, сгоревшая бездымная сера, кислый пот и тяжелый, сладковато-медный дух вытекающей венозной крови.

Санитары грубо перевалили тяжелое тело на брезент носилок. От резкого толчка сместился расщепленный обломок ключицы; костный зубец вспорол мышечную фасцию, вызвав новую вспышку болевого разряда запредельной амплитуды. Офицер выгнулся дугой, его зубы с лязгом впились в медную пряжку нагрудного ремня, а из уголка рта толчком выплеснулась розовая альвеолярная пена.

Пальцы Андрея сомкнулись на липком от пота запястье раненого подпоручика.

Кожный контакт замкнул биоэлектрическую цепь мгновенно.

В нервные узлы детской руки ударил раскаленный свинец чужой плевральной катастрофы. Грудную клетку мальчика слева стянуло невидимым стальным обручем; дыхание перехватило, диафрагму сжало каменной судорогой, а сетчатку глаз залило багровой пульсирующей тьмой. Но рассудок флотского шкипера, державший рулевые тросы в штормах на пределе прочности корпуса, уже выстраивал демпферный контур.

Перераспределить потенциал по длинным нервным стволам. Сбросить пиковое давление с блуждающего нерва раненого в собственный пояснично-крестцовый узел. Заземлить болевой вектор в глубокие мышечные слои.

Связки гортани задрожали на неслышной ультранизкой частоте, формируя акустический резонанс. Из груди мальчика вырвался монотонный, глухой речной шепот:

— Вода на перекате гладкая, дно илистое, камыш густой… Спи, служивый, железо выстыло, жила держит, волна ушла, дыши ровно…

Подпоручик судорожно дернулся в руках санитаров и внезапно обмяк.

Набухшие багровые вены на шее раненого медленно опали, втянувшись под кожу. Крылья носа перестали раздуваться в панической асфиксии; клокочущее, рваное дыхание выровнялось, переходя в тяжелый, ритмичный ритм. Кровотечение из разорванной надключичной ткани заметно ослабло — спад системного давления убрал гидравлический удар со стенок поврежденных вен.

Горло обожгло едким желудочным соком, и спазм сжатой диафрагмы вытолкнул к корню языка густую горечь. Правая ноздря налилась тяжестью: на серый, еще не обмятый холст казенной рубахи сорвалась круглая, почти черная капля крови, мгновенно впитавшись в грубые растительные волокна. Коленные чашечки мелко вибрировали под весом осевшего тела, сухожилия на предплечьях натянулись белыми жгутами, однако пальцы намертво впивались в холодную кожу чужого запястья, удерживая пульсирующую дугу биоэлектрического шунта.

— Ты чего это тут вертишься, малец? — проскрипел над самым ухом надтреснутый голос Фомы.

Мутное бельмо санитара, затянутое белесой пленкой рубцовой ткани, в упор уставилось на сцепленные руки. Пальцы мужика, перепачканные заскорузлой дегтярной смазкой, судорожно стиснули деревянные брусья носилок.

— Сказано же — в палатку волочь. Чего за руку благородие лапаешь? Небось, перстенек серебряный с мизинца стянуть норовишь, пока теплый?

— Пульс проверял, дядька, — слова с трудом пробились сквозь стиснутые, задеревеневшие зубы, отзываясь металлическим звоном в височных костях. — Дышит ровно. Живой еще.

— Живой-то живой, да ненадолго, — сплюнул санитар в раскисшую колею бурую струю махорочного сока и рывком поднял передний край носилок. — Без господина доктора в нашей яме один путь — под березу за мельничным прудом. Шевели лаптями, под ногами не путайся!

Деревянные брусья качнулись, и носилки вплыли в низкий проем солдатского шатра.

Пришлось сделать три глубоких, размеренных вдоха сырого, пахнущего речной тиной тумана, чтобы заставить сердечную мышцу сбавить бешеный ритм. Сосудистая сетка глазного дна пульсировала тупой, раскаленной болью; на нёбе застыл отчетливый, вязкий привкус медного купороса. Каждый контакт такого рода перемалывал ресурсы детского тела с неумолимостью прокатного стана, перегружая незрелые проводящие пути нервной системы, но бросить раненого без фиксации означало немедленный разрыв магистрального ствола при первой же неосторожной встряске.

Доски настила под ногами отозвались глухим, чавкающим хлюпом болотной жижи.

Внутри шатра стоял тяжелый, спертый чад. Шестьдесят тяжелораненых нижних чинов лежали сплошными рядами вдоль земляных насыпей, прямо на слое прелой, гниющей ржаной

соломы. Некоторые глухо стонали, скребя скрюченными ногтями по земляному полу; другие недвижимо пялились в провисший, покрытый черными разводами плесени брезент остекленевшими, выгоревшими зрачками. Воздух сгустился в плотную взвесь испарений неочищенного йодоформа, прелого сукна, сернистого газа и сладковатого, тошнотворного духа влажной гангрены. Жестяные коптилки, приколоченные к кривым березовым подпоркам, захлебывались гарью, роняя на пол тусклые, багровые отблески.

Носилки с офицером бесцеремонно свалили на землю у самого входа, прямо под струи холодной капели, срывавшиеся с провисшего полотна.

Оба санитара, не задерживаясь ни на секунду, выскользнули наружу — со стороны походной кухни долетал сытный пар развариваемой гречневой крупы и пшенного концентрата, где интендантские писаря начинали выдачу утреннего пайка. Возле брошенного тела остался лишь Андрей.

Пальцы подпоручика на левой руке снова забились мелкой, судорожной дрожью.

Прекращение биоэлектрической модуляции немедленно обвалило болевой порог. Нарастающий отек в области поврежденного плечевого сплетения вновь сдавил нервные стволы; перекошенное лицо офицера потемнело, челюсти с силой сжались, выбивая сухую дробь о разбитую нижнюю губу. Из рваной раны в подключичной зоне толчками, в такт скачущему пульсу, пошла темная, венозная кровь вперемешку с хлопьями свернувшейся плазмы.

Опустившись коленями в сырую, истолченную в труху солому, Андрей осторожно отвел в сторону край заскорузлой, пропитанной сукровицей бязи.

Анатомическая картина читалась яснее любого анатомического атласа.

Зубчатый чугунный осколок гранаты размером со спичечный коробок раздробил акромиальный конец ключицы и застрял в толще малой грудной мышцы, острым зазубренным краем упираясь непосредственно в стенку подключичной вены. Малейшее непроизвольное мышечное сокращение, глухой кашлевой толчок или неосторожный поворот шеи неминуемо вспороли бы крупный сосуд, превратив плевральную полость в закрытый резервуар для двух литров хлещущей крови. Старший врач Раух зафиксировал эту угрозу при первом же беглом взгляде во дворе, но сознательно вычеркнул пациента из списка первоочередных — копеечный шелк для лигатур, дефицитные ампулы и силы персонала береглись для титулованных чинов дворянского лазарета.

Ладонь мальчика вновь легла на влажную, стынущую шею офицера, нащупывая сонную артерию.

Контур замкнулся повторно.

Тонкая биоэлектрическая дуга прошила нервные узлы, заставив трапециевидные мышцы Андрея сжаться в каменный желвак. Волевое усилие подавило новый рвотный позыв, перенаправляя чужую судорогу через собственные синапсы и заставляя поврежденные мышечные волокна раненого принудительно расслабиться вокруг мертвого железа. Давление в венозном русле спало. Подпоручик перестал метаться, затылок глубоко погрузился в солому, а дыхание сделалось редким, ровным и бесшумным.

Полог шатра с сухим треском распахнулся от резкого удара снаружи.

В проем ворвался доктор Раух, взметнув полами форменного суконного пальто холодный утренний воздух. Следом за хирургом семенили две старшие сестры милосердия в накрахмаленных, тугих апостольниках, державшие эмалированные лотки с инструментами. В затянутых в лайку пальцах врача тускло блеснул никелированный зажим Пеана, а на безупречно застегнутом темно-зеленом кителе покачивался золотой академический значок лекаря с отличием.

Взгляд выпуклых водянистых глаз хирурга мгновенно пригвоздил замершую фигуру мальчика к изголовью носилок.

— Это еще что за самоуправство?! — сухой, визгливый фальцет Рауха вспорол тягучую духоту помещения хлестким ударом хлыста.

Тяжелые шаги доктора по настилу отозвались сухим треском прогибающихся досок. Тонкая трость с набалдашником из черного рога со свистом рассекла воздух и с глухим стуком ударила по голенищу офицерского сапога.

— Ты по какому праву здесь находишься, щенок?! — хирург навис над Андреем, обдав его густой смесью ментоловой помады, трубочного голландского табака и ледяной, брезгливой спеси. — Кто дозволил касаться раненого офицера без прямого распоряжения дежурного врача?!

Пальцы Андрея едва успели оторваться от влажной кожи на шее подпоручика.

Кованый наконечник трости со всего размаха опустился на левое плечо мальчика. Резкий, обжигающий удар отшвырнул хрупкое детское тело в сторону; лопатки с глухим стуком врезались в шершавый березовый столб, поддерживавший конек шатра. Воздух со свистом вылетел из легких, перед глазами вспыхнула сетка багровых искр, а за воротник казенной рубахи посыпалась сухая, колючая кора.

— Встать смирно, мерзавец! — прошипел Раух, бледнея узкими крыльями породистого носа. Тонкие губы врача скривились в брезгливую складку. — Подавальщик без чина! Дворовый оборванец смеет совать немытые грабли к офицеру императорской армии! Ты забыл, где твое место?! Здесь тебе не земская богадельня для побирушек, здесь военно-санитарная служба Его Императорского Величества!

Колени мальчика глубоко вдавились в мокрую соломенную труху, пропитанную холодной сукровицей.

В глубине взрослого сознания Никиты на долю секунды вскипела глухая, бешеная ярость кадрового флотского офицера — рефлекс командира, привыкшего мгновенно отвечать сокрушительным ударом на любую неприкрытую агрессию. Четырехглавые мышцы бедер натянулись для короткого, убийственного броска вперед, челюсти сжались с хрустом эмали, а пальцы правой руки рефлекторно сложились для прямого удара основанием ладони снизу вверх, прямо в носовую кость надменного эскулапа.

Ледяной расчет заложника чужого, сословного мира пресек это движение в зародыше.

Любое физическое сопротивление нижнего чина или бесправного служки по отношению к дворянину в прифронтовой полосе каралось по законам полевого судопроизводства: коротким залпом конвойной полуроты у ближайшего глиняного бруствера без малейшего разбирательства. Отсутствие метрических свидетельств, сословного статуса и протекции превращало одиннадцатилетнего мальчишку в лагерную пыль под начищенными подошвами господ коллежских асессоров.

Толчок в спину бросил тело вперед — плечо с глухим стуком врезалось в шершавые сосновые плахи дровяного штабеля. Осыпалась сухая смолистая труха, забивая ноздри едкой канифольной пылью и прелью.

— Дурак ты, парень, — сиплый шепот Корнеича вырвался вместе с клубом горячего пара и кислой махорочной гарью.

Фельдшер заслонил собой тусклый просвет между сараем и бревенчатой стеной моечной. Узловатые пальцы старика, въевшиеся в бурую смесь йода и табачного дегтя, лихорадочно шарили по карманам засаленного фартука. На свет появилась закопченная трубка из вишневого корня.

— Круглый дурак. Тебе доктор Раух кто? Отец родной? Дядя крестный? Коллежский асессор, личный дворянин, у него в Санкт-Петербурге родной дядя в Государственном совете кресло полирует! А ты кто? Пыль придорожная. Найденыш без метрики и приходской книги. Раздавят кованым каблуком — полковой писарь даже чернила переводить не станет, чиркнет в графу «убыло по болезни», и концы в канаву.

— Сосуд под ключицей истончился, господин Корнеич, — слова давались с трудом, гортань саднило от поднявшейся из желудка кислой горечи, а место удара трости пульсировало рваной, дергающей болью. — Стенка артерии разошлась бы при первом же глубоком вдохе.

Чирканье серной спички о сухой торец полена разорвало сумрак резкой синей вспышкой. Серный чад полоснул по бронхам, заставив веки судорожно сомкнуться. Огонек выхватил из темноты глубокие, забитые многолетней дорожной копотью борозды на лице фельдшера, мутную белесую пленку на левом зрачке и оскал редких, сточенных зубов.

— Плевать Рауху на подпоручика! Тот подпоручик еще прошлой осенью босыми пятками навоз месил, а в училище экстерном пролез, по манифесту о пополнении армейских потерь. Для господ дворян такие офицерики — кость в глотке, плебейская накипь. Их сюда эшелонами гонят под крупповские гаубицы да немецкие пулеметы, перемалывают в кашу, пока гвардия в теплых казармах под Новгородом чистые воротнички блюдет. Раух слепой, думаешь? Не приметил, как васютинский пульс выровнялся, стоило твоим пальцам к его лучевой кости прикоснуться?

Суставы свело в сухие кулаки. Ногти пробили слой въевшейся грязи на ладонях, отметив кожу полулунными багровыми вмятинами.

— Приметил?

— А то нет! — струя сизого, удушливого дыма ударила в лицо, перебивая запах гнилой древесины смрадом тлеющего конского щавеля. — Двадцать лет Раух в лазаретах кишки штопает. Агонию за версту чует по поту и цвету роговицы. Васютин до заката дотянуть не имел права, отек легких начинался, а парень лежит, дышит мерно, розовая кровь по щекам разлилась, ушел в глубокий здоровый сон. И тебя над ним застал. Руки твои видел.

Старик наклонился вплотную. В ухо ударило влажное шипение, пропитанное гнилостным теплом:

— Брось эти штучки, щегол. Контрразведка здесь доносы не под сукно прячет — сразу к стенке ставят. Пришьют сектанство, раскольничий наговор али немецкое вредительство — мигом в петропавловские казематы на дыбу угодишь. Место свое помни. Велели ковш нести — хватай и молчи. Велели кость держать — держи и зрачки в пол упри. И не вздумай перед их благородиями врачебной сноровкой хвастать, коли шея дорога. Усек?

— Усек, господин Корнеич.

— То-то же. Бери скребок, вон то корыто с тряпьем в омут волоки. До заката чтоб каждый лоскут был выстиран, выщелочен и на еловых жердях сох. На кухню носа не кажи — ужина лишен. Пошел!

Деревянное корыто, вытесанное из цельного осинового ствола, оттягивало плечи неподъемной, мертвой тяжестью. Внутри, осклизлые от свернувшейся сукровицы, гноя и сулемы, лежали спрессованные комья перевязочного материала. Запах распадающегося белка, смешанный с карболовым мылом и кислым духом застарелой крови, поднимался тяжелой удушливой волной, провоцируя спастические сокращения диафрагмы.

Сжатие пальцев на осклизлых рукоятках отозвалось в поврежденном плече вспышкой боли. Позвоночник напрягся, удерживая ось равновесия.

Шаг. Еще шаг.

Спуск к речному затону представлял собой крутой глинистый скат, истоптанный сапогами санитаров и размытый моросью. Подошвы казенных юфтевых сапог скользили по мыльной грязи. Центр тяжести смещался вправо: массивное осиновое корыто кренилось, увлекая худощавое тело вниз, к острым корням прибрежного ольшаника.

Приходилось дробить каждое движение на жесткие механические фазы: врезать рант подметки в вязкую породу, перенести массу тела на пятку, заблокировать коленный сустав, удержать мышечный каркас от падения.

Внизу берег ручья встретил плеском переката и ледяной сыростью.

Стремнина обожгла щиколотки и запястья. Термический удар вызвал мгновенный спазм капиллярного русла: кожа мгновенно побелела, потеряв поверхностную чувствительность.

В ладонь лег шершавый березовый брусок со следами щелока.

Брусок серого мыла, сваренного из костяного жира и древесной золы, оставлял на коже скользкую пленку.

Поверхностный слой

Сырой утренний туман висел над мельничным затоном неподвижной студенистой пеленой, прибивая к прибрежной осоке кислый чад потухших костров и тяжелую вонь застоявшейся в канавах сукровицы. Под грубым рубцом казенной холщовой рубахи наливался свинцовой тяжестью багровый след вчерашнего удара трости. Наждак неосветленного полотна сдирал тонкую корку с отекшей надкостницы при каждом колебании корпуса, посылая в основание шеи тупые, сверлящие разряды.

Тяжелое ведро из мутного цинка тянуло плечевой сустав книзу. Онемевшие от ледяной речной воды и едкого березового щелока пальцы сводило судорогой; кипяток плескался у самого края, обдавая щиколотки струями колючего пара.

Каждый шаг раскладывался на изолированные механические звенья. Подошвы стоптанных юфтевых сапог с чавканьем погружались в липкую, перемешанную с конским навозом и речным илом глину. Требовалось вогнать каблук в вязкую толщу, закрепить голеностоп под углом к склону, перенести балансировочную ось массы на правое бедро и погасить вертикальный толчок в пояснице, уберегая поврежденную ключицу от вибрации. Железная дужка ведра врезалась в огрубевшую плоть ладони, раздавливая лопнувшие водяные мозоли и выдавливая из-под сорванной кожи сукровицу. В носоглотке оседал густой металлический привкус; слюнные железы сжимались в сухом голодном спазме, реагируя на едва уловимый, доносящийся со стороны полевой кухни запах развариваемой перловой сечки.

Низкий порог мельницы отозвался глухим стоном прогибающихся плах.

Воздух внутри сортировочного покоя сгустился в тяжелую взвесь. В нос ударила смесь неочищенной карболки, тлеющего махорочного самосада, прелого солдатского сукна и приторного, гнилостного духа раневого распада. На дубовых столярных верстаках, наскоро обструганных под операционные столы, рядами поблескивали никелированные кюветы. Пар из-под неплотно пригнанных крышек медных походных стерилизаторов с шипением вырывался наружу, оседая каплями конденсата на закопченных бревенчатых стенах.

Возле конторки, сгорбившись над рассохшимся снарядным ящиком, сидел старший фельдшер Корнеич.

Узловатые, пропитанные йодным дегтем и въевшейся гарью пальцы старика мерно двигали по серому ослизлому бруску лезвие брюшистого скальпеля. Зернистый оселок со скрежетом снимал тончайшую стальную стружку: *вжик-вжик, вжик-вжик*. Мутная пленка катаракты на левом глазу фельдшера ловила копотный отблеск керосинки. При каждом движении бруска редкие щетинистые усы Корнеича дергались, перемалывая во рту сухой табачный катышек, а желтая капля слюны дрожала в углу сморщенных губ.

— Приволок, лекарь? — глухо, не поднимая век от лезвия, проскрипел старик. — Ставь кипяток к автоклаву, да без плеска. Здесь тебе не деревенская мыльня. Шевели культями, скоро с Лужского рубежа третью партию скинут. Слышишь, как за лесом наяривает?

Дробный гул канонады пробивал толщу бревен. Колебания глинистого грунта передавались через подметки сапог в кости голени, заставляя мелко вибрировать диафрагму. Медный

половник, подвешенный к полке на ржавом гвозде, бился о край жестяного таза тонким, зудящим звоном.

— Слышу, господин старший фельдшер, — голос прозвучал подчеркнуто ровно, заземляя глухое раздражение в глубину легких через короткий, контролируемый выдох.

— «Господин», — передразнил Корнеич, с силой сплевывая бурую жижу в щель между половицами. — Вчерашней палки мало? Доктор Раух сюда направляется. Рожу попроще сделай. Зенки в настил, плечи внутрь, руки по швам. Инструмент брать исключительно за замки, корнцангом, в сулему совать по третью насечку. И упаси тебя грех снова к офицерским шинам без приказа лезть. У Рауха рука тяжелая, костяной набалдашник лопатку в крошево перетрет.

Визг дверных петель впустил в душное помещение струю студеного сквозняка.

Фигура коллежского асессора Рауха заполнила дверной проем. На отглаженном сукне кителя с серебряными докторскими знаками темнели жесткие, заскорузлые пятна сукровицы. Пергаментная кожа на скулах хирурга натянулась; под запавшими глазами висели сизые складки, свидетельствующие о третьих сутках бессменной резни. Запах ментоловой помады и горького амстердамского табака мгновенно рассек вонь карболки.

Взгляд водянистых глаз Рауха хлестнул по фигуре подростка, задержавшись на опущенных плечах и выставленном вперед правом локте, прикрывающем ушиб.

— Стоит? — сухо бросил врач, обращаясь поверх головы мальчика к фельдшеру. — Руки в сулеме драл?

— Мыл, ваше благородие, до скрипа, — старик мгновенно отложил оселок и вытянул руки по швам вдоль засаленного фартука. — Парень хваткий, на гное не заходится, от крови в обморок не валится.

— Увидим, — Раух сдернул с пальцев тонкую лайку, швырнув перчатки на конторку. Сухие суставы врача с дробным хрустом разогнулись, разминая сухожилия. — Варвара слегла с тифозным жаром. Будешь подавать на третьем верстаке. Перепутаешь анатомический пинцет с хирургическим — велю конюхам запороть до мяса. Корнеев, первого на стол!

Чавкающий шаг санитарных носильщиков снаружи завершился ударом брезента о деревянные козлы.

Тяжелые носилки вплыли в сортировочную. На парусине корчился безусый пехотинец в изодранной гимнастерке с оторванным воротником. Развороченная грудная клетка бойца представляла собой месиво из размочаленных волокон большой грудной мышцы, осколков ребер и черных комьев спекшейся земли. Из глубины раневого канала толчками, в такт прерывистому клокотанию в трахее, выплескивалась темная венозная кровь, пузырясь мелкой пеной на краях разорванной плевры.

Березовый чурбак под ногами скрипнул, принимая вес тела и компенсируя недостаток детского роста у высокого верстака. Запах раневого распада, смешанный со сладковатым духом прелого сукна и пороховой гарью, ударил в рецепторы носоглотки.

Ладонь легла на липкое от холодного пота запястье солдата, фиксируя пульсовую точку на лучевой артерии.

Замкнутый контур плоти сработал мгновенно.

Шквал афферентных импульсов разорванной плевры обрушился в нервные стволы детского предплечья. Миллионы перевозбужденных рецепторов разрушенной ткани выбрасывали запредельный потенциал, грозя перегрузить синапсы спинного мозга. Собственные межреберные мышцы скрутило жесткой судорогой; дыхание заклинило на полувдохе, а в поле зрения вспыхнула багровая пульсирующая сетка капилляров.

Внутренний распределительный щит включился в работу на расчетном пределе.

Шунтировать пиковый потенциал. Сбросить избыточный заряд по ветвям блуждающего нерва в крестцовое сплетение. Заземлить сопротивление через глубокую мускулатуру бедра.

Низкий шепот потек из пересохшей гортани, настраивая голосовые связки на глухую, убаюкивающую вибрацию:

— Вода в затоне сонная, ил мягкий, камыш не гнется… Спи, служивый, железо остыло, жила утихла, холод отступил…

Спазм межреберий солдата начал ослабевать. Вздувшиеся шейные вены плавно опали, а судорожные всхлипы перешли в тяжелое, ровное дыхание глубокого охранительного торможения.

Хирург шагнул к столу, поправляя прорезиненный нагрудник. В пальцах правой руки блеснуло лезвие скальпеля, левая кисть замерла над операционным полем, натягивая края разорванной фасции.

В этот миг в восприятие хлынула совершенно иная частота.

Это не было соматическим воплем умирающего мяса или животным ужасом агонии. Из лобных долей склонившегося врача исходило плотное, высокочастотное излучение предельной концентрации. Напряжение коры оперирующего хирурга формировало пространственный вектор действия. В восприятии инженера сигнал развернулся не речевой конструкцией, а законченной трехмерной кинематической схемой.

Проекция двигательного акта возникла в сознании на долю секунды раньше физического сокращения мышц врача: дугообразный захват, смещение фаланг в глубину раны под углом в сорок пять градусов, зажим Пеана с насечкой на браншах, смыкающийся на пульсирующем стволе внутренней грудной артерии под обломком четвертого ребра.

Пальцы перехватили из кипящей кюветы никелированный инструмент, минуя зрительный контроль.

Холодный металл лег рукоятью точно в раскрывающуюся ладонь хирурга именно в тот миг, когда сухожилия сгибателей пальцев Рауха только начали принимать форму захвата.

Сухой щелчок кремальеры разорвал влажный шум дыхания. Замок зажима зафиксировал бьющую артерию, и фонтанчик темной крови мгновенно осел, сменившись медленным просачиванием.

Скальпель замер. Острие зависло в воздухе в четверти вершка от обнаженного мышечного пласта. Водянистые глаза доктора медленно, рывком поднялись от раны, уставившись сквозь запотевшие стекла круглых очков прямо в лицо малолетнего помощника.

Тягучая тишина повисла в операционном покое, нарушаемая лишь тонким шипением пара в медном автоклаве.

— Я… не требовал зажим, — фальцет хирурга прозвучал глухо и надтреснуто, а крылья его тонкого породистого носа побелели от жесткого спазма сосудов.

Удар сердца отозвался в реберной дуге тупым толчком, отдавшимся в ключицу. Мышечный корсет спины натянулся под грубой холщовой дерюгой, обращаясь в окаменевший пласт. Вспышка тревоги разодрала виски: нарушен установленный порядок лазаретного шатра, разорвана защитная оболочка тупоумного деревенского служки.

— Сосуд… дергался под костью, ваше благородие, — гортань сжало судорогой, выдавливая наружу хриплые, торопливые звуки простонародной скороговорки. — Кровь хлестала темными толчками, в аккурат по-скотски, когда ярке шею пластают под колодой. Рука сама сунулась… дабы стол не залило по край.

Взгляд доктора Рауха уперся в переносицу мальчика, пригвождая к месту. Круглые стекла очков в латунной оправе затянуло белесой пленкой пара от карболки; за влажными линзами расширенные зрачки хирурга ощупывали лицо подручного, выискивая черту между мужицкой сметливостью и опасным своеволием. Металл зажима в руке врача все еще мелко звенел, передавая вибрацию перехваченной артерии.

— Смотри под ноги, сопливый умник, — хриплый шепот сорвался с сухих губ Рауха вместе с кислым запахом желудочных капель. Руки хирурга, повинуясь годами натренированному автоматизму, уже вернулись в рану. — Здесь лазарет Его Императорского Величества, а не бойня в Тверской губернии. Рано тебе рассуждать о пульсациях. Зонд Кохера!

Ладони замерли у бедер, ожидая, пока пальцы доктора в окровавленных нитяных перчатках сами дернутся к краю эмалированного лотка. Лишь когда обрубок указательного пальца Рауха завис над инструментарием, желобоватый стальной стержень скользнул вперед, ручкой точно в раскрытую выемку ладони.

Сбоку, от конторки, обитой цинковыми листами, раздался протяжный, скрипучий вдох. Корнеич прекратил движение бруска по стали. Закопченная трубка застыла в щербатом рту; единственный зрячий глаз фельдшера, затянутый мутной пленкой бельма у самого края радужки, сверлил затылок Андрея тяжелым свинцом. Старый служака провел огрубевшим, въевшимся в сулему большим пальцем вдоль фаски ампутационного ножа, снимая невидимый заусенец, и качнул седой башкой. Смысл этого движения запечатлелся в пространстве без лишних звуков: старик зацепил взглядом странность и теперь будет методично висеть на плечах, считая каждый вздох.

Полевая мясорубка лазарета возобновила размеренный, тупой ход.

Спустя четверть часа дощатый настил освободился. Зашитого пехотинца с перевязанным культей плечом двое санитаров выволокли сквозь брезентовый полог в солдатский шатер, волоча по доскам ватные ноги в рваных портянках. На неструганых плахах операционного стола остались дымящиеся бурые лужи. Тряпка из грубой мешковины, пропитанная ледяной колодезной водой и щелоком, соскребала сгустки в дубовую шайку, пока левое плечо ныло от застарелого ушиба при каждом взмахе.

Канал восприятия, распахнувшийся в момент кризиса, отказался захлопываться.

Каждое движение Рауха над распластанной плотью порождало в воздухе операционной направленный топографический след. Мозг хирурга работал вне словесных конструкций. Внутреннее зрение врача чертило в пространстве трехмерные проекции анатомических атласов: слоистые пучки четырехглавой мышцы, ветвление бедренной артерии в Гунтеровом канале, ход седалищного нерва, перламутровый блеск фасциальных листков. Мысленные карты возникали в голове немца за долю секунды до движения скальпеля — наследие академической муштры профессоров Военно-медицинской академии, вбитое в мышечную память сотен вскрытий в анатомическом театре.

Волна этой профессиональной проекции накрывала сознание Андрея целиком, не оставляя зазора для сопротивления.

Стоило Рауху склониться над рваной раной артиллериста, у которого осколок чугунного ядра развороти л ткани предплечья, как в детском черепе мгновенно отпечатывался жесткий алгоритм манипуляций: *продольный разрез по лучевому краю... обнажение сухожилия длинного супинатора... выделение лучевой артерии... костяной элеватор для отслойки надкостницы... кусачки Листона...*

Этот поток механической точности напоминал чтение чертежей сложного поршневого агрегата, извлекаемых прямо из памяти заводского инженера-механика. Профессиональный глазомер врача, латинские термины, углы наклона лезвия и двигательные рефлексы впечатывались в кору головного мозга цельными функциональными узлами, сминая собственное восприятие реальности.

Плата за непроизвольный прием чужих мыслительных схем нарастала с каждым часом.

К полудню черепную коробку стиснуло раскаленными клещами. Одновременное присутствие в сознании двух несовместимых сигналов — сырой, слепой агонии раненых солдат и холодной, препарирующей геометрии доктора — выкручивало проводящие пути спинного мозга. В височных артериях заколотили кузнечные молоты. Внутриглазное давление поднялось до предела: глазные яблоки распирало из орбит, перед взглядом поплыли радужные маслянистые круги, сквозь которые операционная виделась искривленной, словно в толще мутной бутылочной зелени.

Пространство бревенчатого сруба утратило геометрическую ось.

Стены из тяжелых смолистых бревен то кренились вперед, готовые раздавить деревянные козлы операционных столов, то отступали в холодную бездну. Чтобы удержать равновесие на березовом чурбаке, приходилось до боли поджимать пальцы ног внутри жестких юфтевых сапог, вдавливая стопы в неровную древесину и превращая голени в костяные сваи.

Звуки операционной утратили привычную разобщенность. Скрежет хирургической пилы по кости отзывался соленой горечью на корне языка; шипение пара в медном автоклаве тяжелым, шершавым весом давило на барабанные перепонки; яркий свет полуденного солнца, пробивавшийся сквозь мутные оконницы, острыми иглами вонзался в затылочные бугры.

В час пополудне внешний полог шатра с треском распахнулся от удара сапога. Холодный сквозняк ворвался внутрь, взметнув сухие сосновые стружки на полу и смешав запах карболки с гарью сгоревшего бездымного пороха.

— Дорогу! Принимай, господин доктор! — орал фельдфебель охраны, вваливаясь в перевязочную с побагровевшим от бега лицом. Его шинель была перепачкана липкой черной грязью и запекшейся сукровицей. — Господин штабс-капитан Волков, командир второй батареи! Личный дворянин, из графской свиты! Спасти приказано, генерал лично спросит за его благородие!

Штабс-капитана внесли четверо артиллеристов на сорванной с петель дубовой двери.

Раух мгновенно переменился в лице. Маска отупляющей усталости слетела, обнажив жесткий оскал предельной концентрации.

— На стол! Живо! — доктор сорвал залитый темными пятнами клеенчатый фартук и швырнул его прямо под ноги Андрею. — Корнеев, сулему для рук! Шелк номер один, шелк номер четыре! Крючки Фарабефа! Эфир на маску, немедленно!

— Эфира три унции на донышке колбы, ваше благородие! — прохрипел старый фельдшер, распахивая застекленный шкаф с пузырьками. Стекло полок жалобно звякнуло под его трясущимися узловатыми пальцами. — Обоз с медикаментами под Гатчиной застрял, больше нет!

— Лей все, что есть, до капли! — отрезал хирург, погружая кисти рук в фаянсовый таз с мутным раствором хлористой ртути.

Офицер на дубовых досках хрипел, выгибаясь дугой в терминальной фазе септического шока. Осколок шрапнели пропорол брюшную стенку в левой подвздошной области, разодрав суконный мундир и форменные штаны вместе с плотью. Багрово-сизые, раздутые кишечные петли вывалились наружу в зияющую рану, покрытые сероватыми хлопьями фибрина и сгустками свернувшейся крови. Удушливый, липкий дух калового перитонита мгновенно вытеснил пар карболки, заполнив помещение тяжелой, гнилостной плотностью.

Березовый чурбак глухо стукнул о пол, когда Андрей передвинул его к самому изголовью раненого.

Пальцы левой руки опустились на висок штабс-капитана, покрытый холодным, маслянистым потом.

Физический контакт замкнул нервную цепь с мощью артиллерийского разрыва.

В мозг мальчика ворвался ад брюшинной катастрофы: миллионы оголенных нервных окончаний воспаленной париетальной брюшины выстрелили импульсом запредельного страдания. Собственные внутренности Андрея скрутило спазмом такой силы, что диафрагма застыла камнем, выдавливая из пищевода кислую желчь. Стенки желудка превратились в тугой, раскаленный ком.

Одновременно с этим болевым ударом, навстречу ему, обрушился встречный вал — сознание доктора Рауха, вошедшего в транс хирургического штурма.

Врачебное мышление немца не содержало слов — оно двигалось блоками жестких операционных формул:

*Срединный разрез... рассечение белой линии живота... ревизия брыжеечных сосудов... темный цвет кишечника — признак некроза...

Кровь. Шелк. Артерия — arteria mesenterica superior. Волна уходит в сырой песок под мостом в Дерпте. Скальпель вправо, рассечь фасцию. Спазм. Река глубокая, черная. Зажим, скорей зажим! Истончение кишечной стенки, багрово-черные пятна некроза... Отец чертит тушью план мостового быка на плотном ватмане... Нет! Брыжейка рвется под крючком! Держать жилу, держать!

Окружающее пространство сжалось в узкий туннель, по краям заплывший серым зернистым маревом. Бревенчатые стены мельницы, начищенные медные тазы на лавках, тяжелая фигура Корнеича возле конторки — все обратилось в неразличимый мутный фон. В оптическом фокусе осталась единственная точка: зазубренная чешуйка ржавчины на верхней латунной петле шкафчика для медикаментов. Взгляд намертво вцепился в эту сухую бурую крупицу, удерживая распадающееся сознание от падения в гудящий чужой омут. Звуки капельницы и шипение спиртовки били по барабанным перепонкам свинцовыми молотами, отдаваясь ноющей болью в глазницах.

Брюшина под лезвием скальпеля разошлась с влажным хрустом. В разрез немедленно хлынула темная венозная кровь, перемешанная с мутным зловонным выпотом. Запах вспоротого кишечника и едкой карболки мгновенно вытеснил весь воздух из операционной.

— Тампоны! Сушить поле! — захрипел хирург, и жилы на его шее вздулись багровыми жгутами. — Не вижу источника! Кровь заливает подвздошную ямку!

Скользкие пальцы в резиновых перчатках лихорадочно погрузились в глубь раны, раздвигая пульсирующие петли кишок и безуспешно пытаясь нащупать разорванный ствол сосуда. В чужом сознании, сплетенном с детским восприятием, забился панический образ: *Куперовские ножницы... зонд... изогнутый зажим Микулича... на самом дне кюветы, под слоем марли!..*

Мускулы правой руки мальчика сработали раньше, чем доктор успел разомкнуть губы для приказа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.